КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА



Сомерсет МОЭМ

Сумка с книгами

Сумка с книгами

Сомерсет Моэм

Аннотация
Сомерсет Моэм. СУМКА С КНИГАМИ. рассказы
ОТКРЫТАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
СОСУД ГНЕВА
СУМКА С КНИГАМИ

Аннотация

Сборник «экзотических» рассказов Сомерсета Моэма о необычных людях, необычных местах и необычных событиях, которые никак не могли бы произойти в скучной и чопорной Англии 1930-х годов.

Герои этих рассказов пытаются сохранить в далеких от цивилизации странах родные им нравы и обычаи, — но неизменно терпят поражение, оказываясь в плену изменившихся обстоятельств…

Сомерсет Моэм
СУМКА С КНИГАМИ
рассказы

ОТКРЫТАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

© Перевод. Е. Бучацкая, 2009

Кроме них, в их купе в вагоне первого класса никого не было. Им повезло, ведь у них было много багажа: чемодан Олбена, большая дорожная сумка, чемоданчик Энн с туалетными принадлежностями и шляпная картонка. А в багажном вагоне еще два больших дорожных чемодана, в которых было все, что могло понадобиться им сразу по прибытии. Остальной багаж Олбен поручил агенту транспортной компании, который должен был доставить его в Лондон и держать на складе, пока они не решат, как быть дальше. У них было много имущества: картины, книги, всякие редкости, которые Олбен коллекционировал на Востоке, его ружья и седла. Они навсегда покинули Сондуру. Олбен, по своему обыкновению, дал носильщику щедрые чаевые, а затем прошел к газетному киоску и накупил газет. Он взял «Нью стейтсмен» и «Нейшн», «Тэтлер», «Скетч» и последний номер «Лондон Меркьюри». Вернувшись в вагон, он бросил их на сиденье.

— Осталось ехать всего час, — заметила Энн.

— Знаю, но мне очень захотелось купить все. Я так долго сидел на голодном пайке. Как здорово, что завтра утром мы уже сможем прочесть свежие номера «Таймс», и «Экспресс», и «Мейл».

Она не ответила, и Олбен отвернулся, увидев, что к ним приближаются двое — муж и жена, которые вместе с ними плыли из Сингапура.

— Ну как? Обошлось с таможней? — весело окликнул он их.

Мужчина, словно не слыша его, прошествовал не останавливаясь, но женщина ответила:

— Да, они так и не нашли сигареты.

Увидев Энн, она дружелюбно ей улыбнулась и пошла дальше. Энн покраснела.

— Я боялся, что они захотят войти в наше купе, — сказал Олбен. — Хорошо бы сделать так, чтобы оно осталось в нашем полном распоряжении, если, конечно, получится.

Энн посмотрела на него с любопытством.

— Думаю, на этот счет можно не беспокоиться. Вряд ли у нас будут соседи, — ответила она.

Он зажег сигарету и задержался у двери вагона. На его лице играла счастливая улыбка. Когда они оставили позади Красное море и вошли в Суэцкий канал, поднялся штормовой ветер, и Энн поразило, что мужчины, выглядевшие вполне

презентабельными в белых парусиновых брюках, так изменились, надев одежду потеплее. Они стали такими безликими. Галстуки у них были ужасные, а рубашки совсем не подходили к костюмам. На одних были грубые фланелевые брюки и поношенные спортивные куртки, явно купленные в магазине готового платья, другие облачились в синие костюмы из сержа — творения провинциальных портных. Большинство пассажиров сошли с парохода в Марселе, однако с десяток, видимо сочтя, что путешествие через Бискайский залив пойдет им на пользу, а может быть, подобно Олбену и Энн, из соображений экономии, доплыли до самого Тилбери, и сейчас кое-кто из них прогуливался по перрону. На одних были тропические шлемы, на других — широкополые фетровые шляпы с двойной тульей и тяжелые пальто, на третьих — бесформенные мягкие шляпы или котелки, которые были не слишком хорошо вычищены и, казалось, малы им. В таком виде они производили удручающее впечатление — выглядели провинциалами и людьми второго сорта.

У Олбена, однако, был уже вполне столичный вид. На его изящном пальто не было ни пылинки, а мягкая черная шляпа выглядела абсолютно

новой. Никто бы не подумал, что он не был на родине три года. Воротник костюма нигде не оттопыривался, фуляровый галстук был ловко повязан. Глядя на него, Энн не могла удержаться от мысли, что он интересный мужчина. Роста он был чуть меньше шести футов, стройный, одежда на нем всегда сидела прекрасно и была хорошего покроя. У него были светлые и пока что не поредевшие волосы, голубые глаза и слегка желтоватый цвет лица, обычный для блондинов, после того как они утрачивают бело-розовую свежесть ранней молодости. На щеках не было румянца. Благородная голова, хорошо посаженная на довольно длинной шее с несколько выдающимся кадыком. Однако впечатляла не столько красота лица, сколько его благородство. Именно потому, что у него были такие правильные черты лица, такой прямой нос, такой широкий лоб, он так хорошо выходил на фотографиях. Глядя на его фотографию, можно было подумать, что он необычайно красив. На самом же деле красавцем он не был, возможно, из-за слишком светлых бровей и ресниц и тонких губ, зато выглядел весьма интеллигентно. В его лице были те утонченность и духовность, которые, непонятно почему, трогают за сердце. Именно так, по общему мнению,

полагается выглядеть поэту, и когда Энн стала его невестой, на вопросы подруг, как он выглядит, она всегда отвечала, что он похож на Шелли. Сейчас Олбен повернулся к Энн, улыбаясь одними глазами, и эта улыбка делала его очень привлекательным.

— Лучшего дня для возвращения в Англию не придумаешь! — сказал он.

Стоял октябрь. Пока они плыли через Ламанш, и море и небо были серыми. Не ощущалось и малейшего дуновения ветерка. Рыбачьи лодки покоились на мирных водах, как будто стихии никогда не были враждебны человеку. Берега Англии были невероятно зелеными, но это была веселая приветливая зелень, столь непохожая на буйную и яркую зелень джунглей Восточной Азии. Маленькие города, застроенные домами из красного кирпича, мимо которых они плыли, выглядели по-семейному уютными. Казалось, они приветствовали возвращавшихся на родину изгнанников дружелюбной улыбкой. Когда пароход медленно вошел в устье Темзы, перед ними возникли зеленые равнины Эссекса, а через некоторое время на кентском берегу показалась на фоне лесных массивов Кобема одинокая церковь Чолк среди искореженных ветром деревьев. Крас-

ный шар солнца скрылся в легкой дымке где-то в болотах, наступила темнота. Станция освещалась дуговыми фонарями, каждый из которых был как островок холодного жесткого света среди окружающей тьмы. Вид носильщиков, сновавших в своих неуклюжих униформах по перрону, радовал сердце. Приятно было видеть и толстого начальника станции в котелке, придававшем ему важность. Наконец начальник станции дал свисток и махнул рукой. Олбен вошел в вагон и уселся в углу напротив Энн. Поезд тронулся.

— В шесть десять прибываем в Лондон, — сказал Олбен. — К семи, должно быть, доберемся до Джермин-стрит. Час на то, чтобы принять ванну и переодеться, и в половине девятого уже можем отправиться поужинать в «Савой». Сегодня, дорогая, нам полагается бутылка шампанского и шикарный обед. — Он хохотнул. — Я слышал, как Струды и Монди договаривались встретиться в ресторанчике «Трокадеро».

Затем он взял газеты, предварительно спросив, не хочет ли она какую-нибудь почитать. Энн покачала головой.

— Устала? — спросил он с улыбкой.

— Нет.

— Волнуешься?

Она отделалась смешком, позволявшим избежать ответа.

Олбен стал проглядывать газеты, начав с объявлений. Энн понимала, что ему доставляет огромное удовольствие снова быть в курсе текущих событий. Те же самые газеты они получали и в Сондуре, но — полуторамесячной давности. Благодаря им они, конечно, следили за всем, что происходит в мире и что для них интересно, однако это отставание во времени лишь подчеркивало их изоляцию. Здесь же были газеты, только-только сошедшие с печатного станка. Они даже пахли иначе. Бумага хранила свежесть, вызывавшую у Олбена сладостное ощущение. Ему хотелось читать их все сразу.

Энн глядела в окно. Окрестности скрывались во тьме, и в стекле отражались только огни их вагона. Но вскоре на них надвинулся город: сначала появились неприглядные домишки, целые мили таких домишек. Кое-где в окнах горел свет, а трубы уныло вырисовывались на фоне неба. Вот они проехали Баркинг, вот Истхэм, вот Бромли — смешно, что название станции над перроном так взволновало ее, — наконец Степни. Олбен сложил газеты и произнес:

— Через пять минут прибываем.

Надев шляпу, он снял с полки над окном вещи, которые туда сложил носильщик. Он глядел на нее блестящими глазами, губы у него подергивались. Энн понимала, что он едва скрывает волнение. Олбен тоже выглянул в окно — внизу были ярко освещенные проезды, забитые трамваями, автобусами и грузовиками. На улицах было полно народу. Какая толпа! Все магазины ярко освещены. На обочине стояли уличные торговцы со своими лотками и тележками.

— Лондон, — сказал Олбен.

Взяв Энн за руку, он нежно пожал ее. У него была такая милая улыбка, что она не могла промолчать и попыталась отшутиться.

— Ты не чувствуешь, как у тебя к сердцу что-то подступает?

— Не знаю. То ли хочется плакать, то ли тошнит.

Вот и Фенчерч-стрит. Он опустил раму окна и жестом подозвал носильщика. Тормоза заскрежетали, поезд остановился. Носильщик открыл дверь, и Олбен стал передавать ему одну кладь за другой. Потом он спрыгнул сам и с присущей ему вежливостью подал руку Энн, чтобы помочь ей спуститься на перрон. Носильщик пошел за тележкой, а они стояли возле груды своего багажа.

Олбен помахал рукой проходившим мимо двум пассажирам из тех, с кем они плыли на пароходе. Один из них сухо кивнул.

— Как хорошо, что больше не придется вести себя вежливо с этими жуткими типами, — беззаботно заметил Олбен.

Энн бросила на него быстрый взгляд. Его действительно трудно было понять. Тут вернулся носильщик с тележкой, на которую поставили багаж, и они отправились вслед за ним, чтобы забрать большие чемоданы. Олбен взял руку жены и пожал ее.

— Запах Лондона, какой он замечательный, чувствуешь?

Ему доставляли радость и шум, и суета, и людская толчея, а свет дуговых фонарей и отбрасываемые ими резкие и глубокие черные тени приводили его в восторг. Они выбрались на улицу, и носильщик пошел искать для них такси. Олбен сияющими глазами смотрел на автобусы и на полисменов, пытающихся внести какой-то порядок в эту всеобщую суету. Его благородное лицо казалось чуть ли не вдохновенным. Подошло такси. Багаж погрузили в отделение рядом с водителем. Олбен дал носильщику полкроны, и такси тронулось. Они проехали по Грейсчерч-

стрит, а на Кэннон-стрит попали в пробку. Олбен громко рассмеялся.

— В чем дело? — спросила Энн.

— Ни в чем, просто мне очень здорово.

Далее они проследовали по набережной. Здесь было сравнительно спокойно. Мимо ехали такси и лимузины. Звонки трамваев казались Олбену музыкой. У Вестминстерского моста они пересекли Парламентскую площадь и повернули в зеленую тишину Сент-Джеймского парка. Они заказали номер в гостинице совсем рядом с Джермин-стрит. Портье проводил их наверх, а швейцар принес багаж. Номер был двухместный, с ванной.

— Что ж, совсем неплохо! — сказал Олбен. — Во всяком случае, сойдет, пока не подыщем себе квартиру или еще что-нибудь.

Он посмотрел на часы:

— Послушай, дорогая, если мы примемся вдвоем распаковывать вещи, то будем только мешать друг другу. Впереди у нас масса времени, а ты обычно приводишь себя в порядок гораздо дольше, чем я. Поэтому я пока удеру. Схожу в клуб посмотреть, нет ли для меня писем. Мой смокинг в чемодане, а чтобы принять ванну и одеться, мне понадобится всего двадцать минут. Ну как,

устраивает тебя мой план?

— Да, вполне.

— Через час я вернусь.

— Прекрасно.

Он вынул из кармашка маленькую расческу, которую всегда носил при себе, и провел ею по длинным светлым волосам. Потом надел шляпу и бросил взгляд в зеркало.

— Включить тебе воду для ванны?

— Не стоит.

— Ну ладно. Пока.

Он ушел.

После его ухода Энн вынула чемоданчик с туалетными принадлежностями и шляпную коробку и поставила на крышку большого чемодана со своими вещами. Затем вызвала звонком горничную и, не снимая шляпы, села и закурила сигарету. Она попросила горничную прислать носильщика. Когда тот явился, Энн указала на свой багаж:

— Пожалуйста, снесите все это вниз. Потом я скажу, что делать с вещами.

— Хорошо, мэм.

Энн дала носильщику два шиллинга. Он вынес большой чемодан и все остальное и закрыл за собой дверь. Несколько слезинок скатилось по

щекам Энн, но она встряхнулась, вытерла глаза и припудрила лицо. Ей требовалось все ее мужество. Хорошо, что Олбену пришло в голову сходить в клуб. Это давало ей время обдумать план действий.

Теперь, когда пришло время выполнить давно принятое решение, когда ей предстояло сказать те ужасные вещи, которые нужно было сказать, она дрогнула. Сердце у нее упало. Она точно знала, что именно скажет Олбену, решение она приняла давным-давно и сотни раз повторяла сама себе все слова, по три-четыре раза в день, в течение всего долгого плавания из Сингапура до Лондона. И все же она боялась сбиться и смешаться. Она страшно боялась, что начнется спор. Ей делалось нехорошо при мысли о том, что может произойти сцена. Как бы там ни было, хорошо уже то, что в ее распоряжении целый час, чтобы собраться с силами. Олбен станет говорить, что она бессердечная и жестокая, что у нее нет никаких оснований так поступать. Но она была бессильна изменить свое решение.

— Нет, нет, нет, — громко сказала она.

Ее передернуло от ужаса. И сразу же она вновь представила себя в бунгало, как она сидела, когда все началось. Время близилось к ленчу.

Через несколько минут Олбен должен был прийти из конторы. Ей доставляло удовольствие думать о том, что он вернется в уютный дом, на большую веранду, которая у них играла роль гостиной. Она знала, что, хотя они жили здесь уже полтора года, он всякий раз заново радовался тому, как хорошо она все устроила. Жалюзи были опущены для защиты от полуденного солнца, и проникавший сквозь них приглушенный свет создавал впечатление прохлады и тишины. Энн гордилась своим домом. По службе мужа им приходилось переезжать из округа в округ, и они редко задерживались где-нибудь надолго, но на каждом новом месте она с новым энтузиазмом бралась за устройство уютного и привлекательного жилища. Она была очень современна. Гости, бывало, удивлялись тому, что у них не было никаких безделушек. Их поражали смелые цвета ее занавесок, они не воспринимали приглушенных тонов на репродукциях картин Мари Лоренсен и Гогена в посеребренных рамах, которые были так продуманно развешены на стенах. Энн отдавала себе отчет в том, что мало кто из них вполне одобрял ее дом. Добропорядочные дамы в Порт-Уоллесе и Памбертоне считали такой интерьер вычурным и совершенно неуместным

в жилом доме. Но это ее не волновало. Со временем они усвоят. Непривычное шло им только на пользу. Вот и тогда она тоже оглядывала длинную просторную веранду с довольным вздохом художника, удовлетворенного результатом своих трудов. Ярко. Ничего лишнего. Можно было отдохнуть душой. Ее дом освежал глаз и щекотал фантазию. Три огромные вазы с желтыми каннами завершали цветовую гамму. Глаза Энн на минуту задержались на полках, заполненных книгами. И это тоже смущало здешнюю европейскую колонию — то, что у них столько книг, причем таких странных и, на вкус колонистов, таких заумных. Энн задержала на книгах долгий нежный взгляд, как будто перед ней были живые существа. Потом перевела взгляд на пианино. На подставке для нот лежали раскрытые ноты — какое-то произведение Дебюсси; перед уходом в контору Олбен играл эту вещь.

Когда Олбен получил назначение начальником Дактарского округа, знакомые выражали ей сочувствие, потому что из всех округов Сондуры это был самый дальний и труднодоступный. Между ним и городом, где размещался административный центр, не было ни телеграфной, ни телефонной связи. Но Энн это нравилось. Они

пробыли там уже порядочное время и, как она надеялась, останутся еще на двенадцать месяцев, когда Олбен получит отпуск и они поедут на родину. Дактарский округ размерами не уступал любому английскому графству. Он имел протяженную береговую линию, а море в этом районе было усеяно маленькими островками. Территорию округа пересекала широкая извилистая река, по берегам которой возвышались горы, покрытые девственным лесом. Сама станция, расположенная довольно далеко вверх по реке, состояла из ряда китайских лавок и туземной деревни, гнездившейся среди кокосовых пальм. Там же находились административный центр округа, бунгало начальника округа, домик, где жил клерк, и бараки. Ближайшими и единственными их соседями были управляющий каучуковой плантацией, находившейся выше по реке, в нескольких милях от административного центра, а также управляющий лесной концессией на одном из притоков реки и его помощник — оба голландцы. Катер плантации дважды в месяц совершал рейсы по реке и был их единственным средством связи с внешним миром. Но, хотя жили они одиноко, скучно им не было.

Весь день у них был расписан с утра до вечера.

На рассвете их ждали пони, и, пока еще было по-утреннему свежо и тропинки, протоптанные в джунглях лошадьми, еще хранили тайну тропической ночи, они совершали прогулки верхом. Возвратившись, оба принимали ванну, переодевались и завтракали, после чего Олбен шел в контору. Энн же по утрам писала письма и работала. С первого дня в этой стране она влюбилась в нее и приложила немало усилий, чтобы освоить язык туземцев. Местные истории о любви, ревности и смерти разжигали ее воображение. Она любила слушать романтические истории о совсем недавнем времени, стремилась проникнуться фольклором этого чужого народа. И она, и Олбен много читали. У них имелась довольно значительная для этих мест библиотека, и новые книги приходили из Лондона почти с каждой почтой. От них не ускользало ничего заслуживающего внимания. Олбен любил играть на пианино и, для дилетанта, играл очень хорошо. В хвое время он довольно серьезно занимался музыкой, у него были хорошее туше и отличный слух. Он мог читать ноты с листа, и для Энн всегда было удовольствием сидеть рядом с ним и следить, как он разбирает что-то новое.

Но самым большим удовольствием для них

были поездки по округу. Иногда они уезжали на целых две недели. Обычно они спускались вниз по реке на прау и плавали от одного островка к другому, купались в море и ловили рыбу либо отправлялись вверх по течению до мелководья, где деревья с двух берегов смыкались кронами, так что небо из-за них едва просвечивало. Здесь гребцам приходилось отталкиваться от дна шестами. На ночевку останавливались в хижинах туземцев. Олбен и Энн купались в речных заводях, настолько чистых, что можно было видеть отливавший серебром донный песок. Эти места были так тихи, так прекрасны и оторваны от всего мира, что хотелось остаться здесь навсегда. Порой они уходили в поход в джунгли, спали под парусиновым пологом и, невзирая на мучивших их москитов и сосавших кровь пиявок, наслаждались каждой минутой. Где еще спится так крепко, как на раскладушке в палатке? А потом была радость возвращения домой, наслаждение комфортом хорошо обустроенного домашнего очага, письма и газеты с родины — и пианино.

Олбен присаживался к пианино, пальцы его жаждали коснуться клавиш, и Энн чувствовала, что он вкладывает в то, что играет — в музыку Стравинского, Равеля, Дариуса Мийо, — свои соб-

ственные ощущения: ночные звуки джунглей, рассвет в устье реки, звездные ночи и кристальную прозрачность лесных озер.

Иногда обрушивался ливень, не прекращавшийся несколько дней подряд. Тогда Олбен занимался китайским языком. Он задался целью овладеть им, чтобы общаться с местными китайцами на их языке. Энн же в дождливые дни занималась тысячью вещей, до которых в другое время у нее не доходили руки. Такие дни еще больше сближали их: им всегда было о чем поговорить, и пока каждый занимался своим делом, обоим было приятно ощущать, что они рядом. Их союз был чудом. В дождливые дни, которые заточали их в стенах бунгало, они еще сильнее ощущали себя единым целым перед лицом всего остального мира.

Иногда они ездили в Порт-Уоллес. Это разнообразило жизнь, однако Энн всегда была рада вернуться домой. В Порт-Уоллесе ей всегда бывало не по себе. Она сознавала, что тем, с кем они там встречались, Олбен отнюдь не симпатичен. То были очень заурядные люди, выходцы из среднего класса, с налетом провинциализма, лишенные тех интеллектуальных интересов, которые делали их с Олбеном жизнь столь мно-

гогранной и насыщенной. Многие из них были людьми ограниченными и недоброжелательными. Но поскольку супругам было суждено провести больший отрезок жизни в общении с этими людьми, Энн было неприятно, что они плохо относятся к Олбену. Они считали его высокомерным. Олбен был с ними очень вежлив, но Энн понимала, что им не по нраву его учтивость. Когда он пытался разыгрывать весельчака, они говорили, что он рисуется, а когда он шутливо подтрунивал над ними, считали, что, проходясь на их счет, он их высмеивает.

Однажды, когда они гостили у губернатора, миссис Хэнни, супруга губернатора, которая очень хорошо относилась к Энн, заговорила с ней на эту тему. Возможно, сам губернатор подсказал ей, чтобы она намекнула Энн на это обстоятельство.

— Знаете, дорогая, очень жаль, что ваш супруг не делает попытки сблизиться с людьми. Он очень умен, ваш муж. Может, было бы лучше, если б он не подчеркивал своего превосходства. Муж только вчера сказал мне: «Конечно, я знаю, что Олбен Торел — самый способный человек в администрации, но он, как никто другой, ухитряется вызывать во мне неприязнь. Я губернатор, но когда он со мной разговаривает, у меня всегда

возникает впечатление, что он смотрит на меня как на круглого дурака».

Хуже всего было то, что Энн прекрасно знала: Олбен невысокого мнения об умственных способностях губернатора.

— Это у него выходит ненарочно. Он совсем не хочет подчеркивать свое превосходство, — ответила Энн с улыбкой. — Правда-правда, он совсем не высокомерный. Наверное, так получается потому, что у него прямой нос и высокие скулы.

— Вы же знаете, что в клубе его недолюбливают. Его прозвали Перси-пуховка[1].

Энн покраснела. Она слышала об этом, и это ее возмущало. На глаза у нее навернулись слезы.

— По-моему, это страшно несправедливо.

Миссис Хэнни взяла ее за руку и слегка сжала в знак своего расположения.

— Дорогая, вы понимаете, что мне не хочется задевать ваши чувства. Вашему мужу суждено достигнуть больших высот по службе. Для него самого было бы намного лучше, если б он вел себя попроще, как все. Почему, например, он не играет в футбол?

---

[1] Примечания: 1

В спортивных кругах это ироническое прозвище дают чересчур осторожному боксеру, который предпочитает увертываться от ударов противника, будучи сам не в состоянии играть жестко.

— Ну, просто это не его вид спорта. Зато в теннис он всегда играет охотно.

— Разве? Создалось впечатление, что он не видит среди нас достойных партнеров.

— Но это и правда так, — сказала уязвленная Энн.

Олбен действительно был теннисистом высокого класса. В Англии он участвовал во многих турнирах, и Энн было известно, что ему доставляло некоторое злорадное удовольствие гонять по корту этих добродушных толстяков. Даже самых искусных из них он умел выставить тюфяками. На теннисном корте он мог вытворять черт знает что, и Энн знала, что порой он поддавался искушению.

— Он красуется перед публикой, правда? — спросила миссис Хэнни.

— Не думаю. Поверьте, сам Олбен даже не подозревает, что непопулярен. Лично мне кажется, что он всегда старается быть вежливым и любезным с каждым.

— Именно этим он больше всего и отталкивает людей, — сухо заметила миссис Хэнни.

— Знаю, что нас недолюбливают, — согласилась Энн, принужденно улыбаясь. — Очень жаль, но, боюсь, тут ничего не поделаешь.

— К вам это не относится, дорогая, — воскликнула миссис Хэнни. — Вас-то как раз все обожают. Только из-за вас они и мирятся с вашим мужем. Вас просто нельзя не любить.

— Не представляю, за что меня обожать, — сказала Энн.

Тут она была не совсем искренна. Ведь она умышленно играла роль славной, непритязательной женщины, а в душе страшно этим забавлялась. Олбен раздражал людей потому, что в нем было столько изысканности, что его интересы лежали в сфере искусства и литературы, они же ничего не понимали в таких вещах и потому считали их недостойными мужчины. Они недолюбливали Олбена, потому что он был способнее их и лучше воспитан. Они считали его высокомерным, но он действительно превосходил всех, только не в том смысле, как понимали они. Ее они прощали, потому что она была маленькая дурнушка. Так она сама себя называла, однако отнюдь не была дурнушкой, а если и была, то очень привлекательной. Она смахивала на маленькую, но очень милую и очень добрую обезьянку. У нее была складная фигурка. Это было ее главное достоинство. Это — и еще глаза. Они были у Энн очень большие, темно-карие, блестящие, теплые,

веселые, порой становившиеся очень нежными и сочувственными. Волосы у нее были почти черные, вьющиеся, кожа смуглая, носик маленький, мясистый, с большими ноздрями, рот слишком велик для лица. Но она была жизнерадостной и оживленной. Она могла с неподдельным интересом беседовать с дамами в английской колонии об их мужьях и прислуге, об их детях, учившихся в Англии, и выслушивать с искренним участием мужчин, рассказывавших ей истории, зачастую уже известные ей. В ней видели очень приятного и хорошего человека. Они не знали, что в душе она над ними смеялась. Никому и в голову не приходило, что она считала их людьми ограниченными, малокультурными и претенциозными. Они не находили ничего привлекательного в Востоке, потому что самый их подход к Востоку был вульгарно-материалистическим. Романтика стояла у них на пороге, а они гнали ее, как назойливую нищенку. Энн держалась сдержанно и только повторяла про себя строчку из Лендора: «Природу я любил, природу — и искусство».

Разговор с миссис Хэнни заставил ее задуматься, но в целом не пробудил тревоги. Энн задавалась вопросом: не рассказать ли о нем Олбену — ей всегда казалось немного странным,

что муж совсем не отдает себе отчета в своей непопулярности, но она побоялась: если расскажет, Олбен утратит непринужденность. Ведь он никогда не замечал, что мужчины в клубе относятся к нему холодно. При нем они стеснялись и переставали чувствовать себя свободно. Поэтому его появление всякий раз порождало чувство неловкости. Однако, к счастью для себя, он не понимал этого, был весел и любезен со всеми. Дело в том, что он, как ни странно, был не способен понимать чувства других. Она и сама избегала панибратства — это не было принято в кругу их лондонских друзей, но он так и не сумел осознать, что люди в колониях — правительственные чиновники, плантаторы и их жены — тоже люди и тоже способны чувствовать. Для него они были просто пешками в игре. Он смеялся вместе с ними, поддразнивал их и дружелюбно терпел. Энн про себя посмеивалась: он напоминал ей учителя начальной школы, который вывез малышей на пикник и старается, чтобы им было весело.

Она боялась, что если расскажет Олбену о разговоре с миссис Хэнни, это ничего не даст. Олбен был не способен притворяться, играть роль, что, к счастью, так легко давалось ей. Но разве с англичанами в колониях можно было вести

себя по-другому? Мужчины приехали в колонию юнцами, только-только окончив второразрядную школу, и жизнь ничему их не научила. В пятьдесят лет по уму они оставались незрелыми подростками. В большинстве своем они злоупотребляли спиртным, ничего стоящего не читали и прежде всего стремились быть как все. Высшей похвалой в их устах было «чертовски славный парень». Если же человек имел какие-то духовные интересы, значит, он «много о себе понимал». Их снедала зависть друг к другу и мелкая ревность. А женщины, бедняжки, были одержимы соперничеством друг с другом. Здешнее общество было куда более провинциальным, чем в самом маленьком английском городке. Это были ограниченные и самодовольные люди, к тому же недобрые. Что ж, что Олбен пришелся им не по вкусу? Им придется терпеть его, раз уж его способности неоспоримы: он умен, энергичен, никто не может сказать, что он плохо выполняет свою работу; куда его ни назначали, он везде проявлял себя отлично. Благодаря природной чуткости и воображению, он понимал мышление туземцев и добивался от них того, что не сумел бы никто другой. Обладая способностями к языкам, он овладел всеми местными диалектами. Он знал

не только самый распространенный из них, который освоило большинство должностных лиц в администрации, но был знаком и с языковыми тонкостями, а когда требовалось, умел пустить в ход особо церемонные выражения, что льстило туземным правителям и производило на них сильное впечатление. У него были организаторские способности. Он не боялся ответственности. Со временем он мог рассчитывать на пост резидента. В Англии у Олбена были кое-какие связи: его отец, бригадный генерал, погиб во время войны, и хотя у сына не было капитала, зато имелись влиятельные друзья. О них он говорил с добродушной иронией. «Важное преимущество демократического правительства, — говаривал он, — заключается в том, что человек может твердо рассчитывать: его заслуги получат должное признание, если за него есть кому замолвить словечко».

Олбен, несомненно, был самым способным среди колониальных чиновников, поэтому казалось вполне логичным, что со временем он может стать губернатором. Вот тогда-то, думала Энн, его манера, в которой так и сквозит превосходство, на что все жаловались, будет вполне уместна. Тогда они признают его своим хозяином, а уж

он-то сумеет заставить себя уважать и подчиняться себе. Высокое положение, рисовавшееся ей, не пугало ее. Она принимала его как должное. Олбену будет занятно стать губернатором, а ей — губернаторшей. А какие возможности откроются перед ними! Они как овцы — все эти правительственные чиновники и плантаторы. Если дом губернатора станет очагом культуры, они скоро подстроятся к общему тону. Если лучшим способом добиться благосклонности губернатора будет интеллигентность, последняя войдет в моду. Они с Олбеном начнут поощрять самобытные туземные искусства, начнут любовно собирать памятники исчезнувшего прошлого. Страна так продвинется вперед, как никто и не мечтал. Они будут всемерно содействовать ее развитию, понятно, в соответствии с требованиями порядка и красоты. Они пробудят в подчиненных любовь к этой прекрасной стране и благожелательный интерес к населяющим ее романтическим народностям. Научат подчиненных любить музыку и понимать ее. Будут поощрять литературу. Будут создавать красоту. Наступит золотой век.

Внезапно Энн услышала шаги Олбена. Она очнулась от своих мечтаний. Все это было делом далекого будущего. Пока что Олбен был всего-

навсего начальником округа, и значение имело лишь то, как они живут в настоящее время. Она услышала, как Олбен прошел в душевую и облился водой. Через минуту он вошел в дом. Он переоделся — сейчас на нем были рубашка и шорты. Светлые волосы были еще мокрыми.

— Как насчет ленча? — спросил он.

— Все готово.

Он присел за пианино и заиграл ту же пьесу, которую играл утром. Каскад серебряных звуков как бы охлаждал духоту дня. Возникал образ чопорного английского сада с большими деревьями, искусно сделанными фонтанами и неторопливыми прогулками по дорожкам, окаймленным псевдоклассическими статуями. Олбен играл с особенной проникновенностью.

Старший бой объявил, что еда подана. Олбен встал из-за пианино. Рука об руку они прошли в столовую. Там лениво колыхалась пунка[2], навевая прохладу. Энн оглядела стол. Накрытый цветной скатертью и уставленный тарелками с веселым узором, он выглядел нарядно.

— Что интересного было утром в конторе? — спросила она.

---

[2] Примечания: 2

Пунка (*индийск.*) — подвешенное опахало.

— Да ничего особенного. Разбиралось дело о буйволе. Ах да, еще передали просьбу Принна, чтобы я приехал на плантацию. Кто-то из кули портит деревья; он хочет, чтобы я разобрался на месте.

Принн был управляющим каучуковой плантацией в верховьях реки, и время от времени они ездили к нему с ночевкой. А порой, когда Принну хотелось проветриться, он приезжал к обеду и ночевал в бунгало начальника округа. Принн нравился им обоим. Он был мужчина лет тридцати пяти, с красным, изрезанным морщинами лицом и очень черными волосами. Человек малообразованный, нрав он имел веселый и легкий, а поскольку других англичан ближе чем в двух днях пути не было, им оставалось довольствоваться его обществом. Сначала Принн несколько стеснялся их. На Востоке новости распространяются быстро, и задолго до того, как супруги прибыли в этот округ, до него дошли слухи, что они интеллектуалы. Он не знал, как сложатся их отношения. Вероятно, он не отдавал себе отчета в том, что наделен природным обаянием, которое восполняло отсутствие многих других достоинств, а чуть ли не по-женски восприимчивый Олбен особенно ценил это качество. Принн со

своей стороны, обнаружил, что Олбен гораздо более общителен и снисходителен к человеческим слабостям, чем можно было рассчитывать; что до Энн, так ее он нашел просто обворожительной. Олбен играл Принну на пианино регтайм (чего не стал бы делать и для самого губернатора), не отказывался и от партии в домино. Когда Олбен впервые предпринял инспекционную поездку по своему округу в сопровождении Энн и сказал Принну, что им хотелось бы провести пару дней на его плантации, тот сразу предупредил, что живет с туземкой, от которой у него двое ребятишек. Он постарается, сказал он, чтобы они не попадались на глаза Энн, но отослать никуда не может — просто некуда. В ответ Олбен рассмеялся:

— Энн совсем не из таких. Даже не думайте прятать своих ребятишек. Она обожает детей.

Энн быстро подружилась с застенчивой хорошенькой маленькой туземкой и вскоре весело играла с детьми. Она вела с их матерью долгие доверительные беседы. Дети полюбили ее. Она привозила им чудные игрушки из Порт-Уоллеса. Принн, сравнивая ее ласковую терпимость с неодобрительной холодностью других белых женщин в колонии, говорил, что она его ошеломила. Он всячески старался выказать свое

восхищение и благодарность.

— Если все интеллектуалы вроде вас, — заявил он им, — то я за интеллектуалов.

Принна пугала мысль, что через год они навсегда покинут этот округ. Он не исключал, что следующий начальник окажется женатым и его супруга придет в ужас от того, что он, Принн, чем быть одиноким, стал жить с туземкой, да еще и, страшно сказать, очень к ней привязался.

Однако в последнее время на плантации возникли волнения. Кули-китайцы подхватили коммунистическую заразу и начали проявлять строптивость. Олбену пришлось приговорить нескольких за различные правонарушения к разным срокам тюремного заключения.

— Принн говорит, что, как только срок их контракта истечет, он отправит всех обратно в Китай и наберет яванцев, — сказал Олбен Энн. — Я считаю, он прав. С яванцами гораздо легче управиться.

— Как по-твоему, можно ждать больших неприятностей?

— Нет, нет. Принн свое дело знает и к тому же достаточно решительный человек. Он не потерпит никаких глупостей, а мы с нашими полицейскими поддержим его. Вряд ли кули пойдут

на какие-нибудь фокусы. — Он улыбнулся. — Железный кулак в бархатной перчатке.

Не успел он закончить фразу, как неожиданно раздались крики. Послышались шум, топот ног, громкие голоса.

— Туан! Туан!

— В чем дело, черт побери?

Олбен вскочил и быстро прошел на веранду. Энн пошла следом. У крыльца сгрудились туземцы — сержант, трое или четверо полицейских, лодочники и несколько мужчин из поселка.

— В чем дело? — спросил Олбен.

Двое или трое что-то прокричали в ответ. Сержант оттолкнул остальных, и Олбен увидел лежащего на земле человека в рубашке и шортах защитного цвета. Олбен сбежал с крыльца. В человеке он признал метиса — помощника Принна. Шорты его были в крови, на лице и голове тоже запеклась кровь. Он был без сознания.

— Несите его в дом, — крикнула Энн с веранды.

Олбен отдал распоряжение. Метиса подняли, перенесли на веранду и опустили на пол. Энн подложила ему под голову подушку. Она приказала принести воды и аптечку.

— Он мертв? — спросил Олбен.

— Нет.

— Попробуйте дать ему бренди.

Лодочники рассказали ужасную новость. Китайские кули внезапно взбунтовались и напали на контору управляющего. Принна убили, а его помощник Окли чудом спасся. Он наткнулся на бунтовщиков, когда те грабили контору, увидел, как выбросили из окна труп Принна, и припустил изо всех сил. Китайцы его заметили и стали преследовать. Он побежал к реке и был ранен, когда прыгал в катер. Катеру, однако, удалось отчалить прежде, чем китайцы сумели забраться на борт, и находившиеся в нем люди поспешили вниз по реке за подмогой. Отплывая, они увидели, что здание конторы и окружающие строения охвачены пламенем. Несомненно, кули сожгли все, что могло гореть.

Окли издал стон и приоткрыл глаза. Это был маленький смуглый человек с плоским лицом и курчавыми жесткими волосами. В его больших с туземным разрезом глазах застыл ужас.

— Не бойтесь, — сказала Энн. — Вы в безопасности.

Он облегченно вздохнул и слабо улыбнулся. Энн обмыла его лицо и протерла антисептической жидкостью. Рана на голове была неглубокой.

— Вы можете говорить? — спросил Олбен.

— Подожди, — прервала Энн, — надо осмотреть его ногу.

Олбен приказал сержанту выдворить толпу с веранды. Энн разрезала штанину шорт. Ткань прилипла к подсохшей ране.

— Кровь так и била, — пожаловался Окли.

Кость не затронуло, распорота была только мышца. Хотя рана начала снова кровоточить, умелые пальцы Олбена остановили кровь. Олбен обработал рану и наложил повязку. Сержант и полицейский перенесли Окли в шезлонг. Олбен дал ему бренди с содовой, и вскоре тот был в состоянии говорить. Но знал он не больше того, о чем уже рассказали лодочники. Принн был мертв, а дома на плантации полыхали.

— А что случилось с женщиной и детьми? — спросила Энн.

— Не знаю.

— Ох, Олбен!

— Я должен вызвать полицию. Вы уверены, что Принн мертв?

— Да, сэр. Я видел его труп.

— Есть ли у бунтовщиков огнестрельное оружие?

— Не знаю, сэр.

— Как это не знаете? — раздраженно воскликнул Олбен. — Разве у Принна не было ружья?

— Было, сэр.

— У других тоже. Одно у вас, так? И у старшего надсмотрщика.

Метис молчал. Олбен сурово смотрел на него.

— Сколько там этих проклятых китайцев?

— Сто пятьдесят.

Энн недоумевала, зачем Олбен задает столько вопросов. Казалось, он напрасно теряет драгоценное время. Сейчас главное было собрать кули, чтобы отправить их вверх по реке, подготовить лодки и раздать полицейским боеприпасы.

— Сколько полицейских в вашем распоряжении, сэр? — спросил Окли.

— Восемь и сержант.

— Могу я с вами? Тогда нас будет десять. Я уверен, что после перевязки смогу идти.

— Я остаюсь здесь, — сказал Олбен.

— Но ты должен отправиться на плантацию, Олбен! — воскликнула Энн. Она не верила своим ушам.

— Глупости! Отправляться туда сейчас — чистое безумие. От Окли пользы мало, через несколько часов у него наверняка поднимется температура. Он будет только обузой. Значит, остается девять

ружей. А китайцев сто пятьдесят человек, у них есть огнестрельное оружие и сколько угодно боеприпасов.

— Откуда ты знаешь?

— Элементарный здравый смысл подсказывает, что в противном случае они не устроили бы такое. Плыть туда сейчас было бы просто идиотизмом.

Энн от изумления открыла рот. В глазах Окли тоже было недоумение.

— Что же ты намерен делать?

— У нас, к счастью, есть катер. Я пошлю его в Порт-Уоллес с просьбой прислать подкрепление.

— Но ведь подкрепление доберется сюда не раньше чем через два дня.

— Ну и что? Принн мертв, контора сгорела, плантация сожжена. Какая польза от нас, если мы туда и отправимся? Я пошлю туземца разведать, как и что, тогда будем точно знать, что делают бунтовщики. — Олбен наградил Энн своей обаятельной улыбкой. — Поверь, дорогая, днем раньше, днем позже, но эти мерзавцы получат свое.

Окли хотел было что-то сказать, но, возможно, не осмелился. Он был всего лишь метис, помощник управляющего. Олбен же, как администратор

округа, олицетворял власть правительства. Однако глаза метиса отыскали взгляд Энн, и ей показалось, что он ищет у нее поддержки.

— Но ведь за два дня они могут такого натворить! — воскликнула она. — Страшно подумать.

— Какой бы ущерб они ни причинили, они поплатятся. Обещаю тебе.

— Ах, Олбен, не можешь же ты сидеть сложа руки. Умоляю — отправляйся туда сам и немедленно.

— Не глупи. Мне не подавить мятежа всего с восемью полицейскими и сержантом. Я просто не имею права идти на такой риск. Добираться придется на лодках. Как ты думаешь — сумеем мы пробраться незамеченными? Высокая трава по берегам — идеальное прикрытие. Нас перестреляют, как куропаток. Никакого шанса на успех.

— Если два дня ничего не предпринимать, боюсь, китайцы примут это за слабость, — сказал Окли.

— Когда мне понадобится ваше мнение, я вас спрошу, — ответил Олбен ледяным тоном. — Как я понимаю, при первой угрозе вы сразу дали стрекача. Вряд ли от вас будет много помощи в критическую минуту.

Метис покраснел. Больше он не сказал ни слова

и только смотрел прямо перед собой беспокойным взглядом.

— Я иду в контору, — сказал Олбен. — Напишу краткое донесение и немедленно отошлю с катером вниз по реке.

Он отдал приказ сержанту, который все это время неподвижно стоял на верхней ступеньке крыльца. Тот откозырял и убежал. Олбен пошел в маленькую прихожую за своим шлемом, Энн побежала за ним.

— Олбен, ради Бога, удели мне минутку, — прошептала она.

— Не хочу быть с тобой грубым, дорогая, но я очень спешу. Думаю, тебе не следует вмешиваться не в свое дело.

— Ты не можешь сидеть сложа руки, Олбен. Ты должен отправиться, хоть это и рискованно.

— Не будь дурой, — отрезал он.

Раньше Олбен никогда на нее не сердился. Энн схватила его за руку, пытаясь удержать.

— Я тебе сказал, что лезть туда мне сейчас бесполезно.

— А вот этого никто не знает. Там остались женщина и дети Принна. Мы обязаны что-то сделать для их спасения. Позволь мне отправиться с тобой. Ведь они их убьют.

— Если уже не убили.

— Как можешь ты быть таким бесчувственным! Если остался хоть один шанс их спасти, твой долг — попытаться.

— Мой долг — действовать трезво. Я не собираюсь рисковать своей жизнью и жизнью моих полицейских ради туземки и ее полукровок. Ты что, за дурака меня принимаешь?

— Но ведь скажут, что ты струсил.

— Кто скажет?

— Все в колонии.

Он презрительно улыбнулся:

— Знала бы ты, как мне плевать на мнение всех здесь в колонии.

Она пристально на него посмотрела. Уже восемь лет они были женаты, и Энн научилась читать любое выражение его лица, любую его мысль. Она глядела в его голубые глаза, как в открытые окна. Внезапно она побледнела, выпустила его руку и отвернулась. Не проронив больше ни слова, она вернулась на веранду. На ее некрасивой мордашке был написан ужас.

Олбен вернулся в контору, составил краткий отчет о случившемся — только факты, ничего больше, — и через несколько минут катер уже тарахтел вниз по реке.

Два следующих дня тянулись бесконечно. Спасшиеся бегством с плантации туземцы рассказали, что там творится. Однако из их взволнованных бессвязных рассказов было невозможно получить точное представление о том, что произошло на самом деле. Было пролито немало крови. Старший надсмотрщик был убит. Рассказывали дикие истории о насилии и жестокости. Однако о сожительнице Принна и его двух детях Энн не удалось узнать ничего. Ее бросало в дрожь при мысли о том, какая судьба могла их постигнуть. Олбен сколотил отряд, собрав столько туземцев, сколько мог. Они были вооружены копьями и мечами. Он реквизировал лодки. Положение было серьезное, но Олбен сохранял хладнокровие. Он был убежден, что сделал все возможное и теперь ему не остается ничего другого, как поддерживать заведенный порядок. Он выполнял свои обычные обязанности. Он играл на пианино. По утрам выезжал с Энн на прогулку. Казалось, он позабыл, что впервые за их совместную жизнь между ними возникла серьезная размолвка. Он считал само собой разумеющимся, что Энн признала мудрость его решения. Он, как и прежде, был ласковым и веселым, разговаривал шутливым тоном; если же говорил о бунтовщиках, то с

мрачной иронией. Когда настанет время расплачиваться, многие из них горько пожалеют, что родились на свет.

— А что с ними будет? — спросила Энн.

— Повесят. — Он брезгливо пожал плечами. — Ненавижу присутствовать при казнях, от них меня тошнит.

Он очень сочувствовал Окли — того уложили в постель, и Энн ухаживала за ним. Возможно, Олбен жалел, что в ту отчаянную минуту говорил с ним оскорбительным тоном, и изо всех сил старался загладить это любезностью.

На третий день, когда после ленча они пили кофе, тонкий слух Олбена расслышал рокот приближающегося катера. В тот же миг на веранду взбежал полицейский с сообщением, что виден катер британской администрации.

— Наконец-то! — воскликнул Олбен.

Он выскочил из дома. Энн приподняла жалюзи и посмотрела на реку. Рокот мотора раздавался совсем близко, а через несколько секунд из-за поворота появился и сам катер. Она увидела, как Олбен сел в прау, а когда катер бросил якорь, поднялся его борт. Энн сообщила Окли, что подкрепление прибыло.

— А начальник округа пойдет с ними на бун-

товщиков? — спросил он.

— Естественно, — ответила Энн холодно.

— Как знать.

Энн испытывала странное чувство. Эти два дня она с трудом удерживалась от слез. Ничего не ответив на слова Окли, она вышла из комнаты.

Спустя четверть часа Олбен вернулся в бунгало с офицером полиции, которого прислали с двадцатью сикхами на подавление бунта. Капитана Стрэттона, человека маленького роста, с красным лицом, рыжими усами и кривыми ногами, очень добродушного и смелого, она часто встречала в Порт-Уоллесе.

— Ну и заварушка, скажу я вам, миссис Торел, — громко и весело произнес Стрэттон, пожимая ей руку. — Вот и я с моей армией. Все полны отваги и готовы к драчке. Вставайте, парни, и — вперед! Найдется что-нибудь выпить в этом вашем захолустье?

— Бой, — улыбнувшись, позвала Энн.

— Чего-нибудь холодненького, слегка алкогольного, чтобы посмаковать, и я буду готов обсудить план кампании.

Его бодрый тон действовал успокоительно. Исчезли унылое напряжение и страх, которые воцарились в их когда-то столь мирном бунгало

после случившейся беды.

Явился бой с подносом, и Стрэттон смешал себе виски с содовой. Олбен рассказал ему о положении дел. Он излагал факты ясно, кратко и точно.

— Должен признаться, я восхищаюсь вами, — сказал Стрэттон. — На вашем месте я ни за что не смог бы удержаться от искушения взять восемь моих полицейских и самому вздуть мерзавцев.

— Я счел это абсолютно неоправданным риском.

— Безопасность прежде всего, старина, не так ли? — благодушно заметил Стрэттон. — Ну, я очень рад, что вы не пошли на риск. Нам нечасто выпадает возможность помахать кулаками. С вашей стороны было бы нехорошо забрать себе все лавры.

Капитан Стрэттон был за то, чтобы немедленно отправиться вверх по реке и атаковать, но Олбен указал ему на нежелательность такого образа действий. Тарахтенье приближающегося катера насторожит бунтовщиков, заросли на берегу обеспечат им прикрытие, а наличие у них огнестрельного оружия затруднит высадку. Казалось неоправданным подвергать нападающих обстрелу. Глупо было бы забывать, что предстоит иметь дело со ста пятьюдесятью отчаянными людьми,

которые могут устроить засаду. Олбен изложил свой собственный план. Стрэттон слушал его, изредка кивая головой. План был явно хорош. Он позволял обрушиться на бунтовщиков с тыла, захватив их врасплох, и достигнуть цели, не потеряв скорее всего ни одного человека. Было бы глупо не согласиться с этим планом.

— Но почему вы сами не сделали этого? — спросил Стрэттон.

— Имея в своем распоряжении всего восемь человек и одного сержанта?

Стрэттон не ответил и только сказал:

— Как бы то ни было, идея неплохая, на ней мы и остановимся. У нас есть еще время в запасе, так что с вашего разрешения, миссис Торел, я пойду приму душ.

Они отправились на закате — капитан Стрэттон и двадцать его сикхов, Олбен со своими полицейскими и туземцами. Ночь была темная, безлунная. За катером тянулись лодки, реквизированные Олбеном, в которые, пройдя определенное расстояние, они собирались пересадить свой отряд. Важно было действовать бесшумно, чтобы бунтовщики не догадались об их приближении. В течение трех часов они продвигались на катере, потом пересели в лодки

и пошли на веслах. Добравшись до границ плантации, они высадились на берег. Проводники повели их по такой узкой тропе, что пришлось идти гуськом. Тропой давно не пользовались, идти было нелегко. Дважды понадобилось переходить речки вброд. Тропа привела их обходным путем в тыл деревни, где жили кули, но напасть решили только на рассвете, поэтому Стрэттон дал приказ остановиться. Ждать пришлось долго. Было холодно. Наконец тьма начала понемногу отступать. Хотя стволы деревьев были еще неразличимы, их присутствие уже ощущалось — они были чуть светлее окружавшей тьмы. Стрэттон сидел, привалившись спиной к дереву. Он шепотом отдал приказ сержанту, и через несколько минут колонна вновь тронулась в путь. Неожиданно для себя они вышли на широкую дорогу. Тут они построились по четыре. Стало светать, и в призрачном свете смутно вырисовывались окружающие предметы. По приказу, отданному шепотом, колонна остановилась. Они достигли такого места, откуда были видны жилища кули. В них царила тишина. Колонна неслышно приблизилась и снова остановилась. У Стрэттона блестели глаза. Он улыбнулся Олбену:

— Мы накрыли мерзавцев спящими.

Он выстроил своих людей. Они зарядили ружья. Выйдя на шаг вперед, Стрэттон поднял руку. Карабины были нацелены на жилища кули.

— Огонь!

Прозвучал залп. В деревне поднялся невероятный гвалт, из хижин повыскакивали китайцы, крича и размахивая руками, а впереди — к полному изумлению Олбена — бежал белый, орал что есть силы и грозил кулаком.

— Что за черт, кто это? — воскликнул Стрэттон.

Очень крупный и очень толстый мужчина в штанах защитного цвета и в майке приближался с такой быстротой, какую позволяли его толстые ноги. На бегу он грозил им кулаком и орал:

— Smerige flikkers! Verlockte ploerten!

— Боже мой, это же Ван Хассельт, — сказал Олбен.

Голландец Ван Хассельт был управляющим лесной концессией на одном из более широких притоков реки, примерно в двадцати милях от каучуковой плантации.

— Черт возьми, что это вы тут вытворяете? — спросил он, отдуваясь, когда подбежал к ним.

— Черт побери, вас-то как сюда занесло? — спросил Стрэттон в свою очередь.

Он видел, что китайцы рассыпались в стороны, и отдал своим людям команду окружить их и согнать в одно место. Затем снова повернулся к Ван Хассельту:

— Что это значит?

— Что значит? Что значит? — прокричал в ярости голландец. — Я сам хотел бы знать! Вы со своими проклятыми полицейскими заявляетесь сюда ни свет ни заря и принимаетесь палить ни с того ни с сего. Вы что, решили потренироваться в стрельбе по мишеням? Могли ведь убить меня, идиоты!

— Сигарету не хотите? — предложил Стрэттон.

— Каким образом вы здесь, Ван Хассельт? — снова спросил Олбен в полном недоумении. — Наш отряд прислали из Порт-Уоллеса подавить бунт.

— Каким образом? Пешком пришел. А как же еще, по-вашему? Какой, к черту, бунт. Я усмирил бунт. Если вы за этим сюда явились, можете забирать своих чертовых полицейских и возвращаться назад. Пуля просвистела прямо у меня над головой.

— Не понимаю, — сказал Олбен.

— Тут нечего понимать, — брызгал слюной Ван Хассельт, все еще беснуясь. — Несколько кули прибежали ко мне и сказали, что китаезы убили

Принна и сожгли контору. Я взял моего старшего помощника, главного надсмотрщика и приятеля-голландца, он как раз у меня гостил, и пришел посмотреть, что тут происходит.

Капитан Стрэттон широко раскрыл глаза.

— Что, просто так пришли сюда, как на пикник? — спросил он.

— Неужели вы думаете, что, прожив в этой стране столько лет, я позволю паре сотен китаез навести на меня страх? Да они сами были до смерти перепуганы. Один, правда, посмел навести на меня ружье, но я тут же вышиб ему мозги. Ну а остальные сразу сдались. Я приказал связать зачинщиков. Собирался сегодня утром послать за вами лодку, чтобы вы приехали и забрали их.

Стрэттон с минуту ошеломленно глядел на него, а затем покатился со смеху. Он смеялся до слез. Голландец сердито смотрел на него, потом тоже стал хохотать. Он смеялся утробным смехом очень толстого человека, и жирные складки его тела тряслись. Олбен хмуро наблюдал за ними. Он был очень сердит.

— Как насчет сожительницы Принна и его ребятишек?

— С ними все в порядке, они спаслись.

Все это лишний раз доказывало, как мудро он

поступил, не поддавшись истерике Энн. Конечно же, дети не пострадали. Он и не думал, что с ними может что-то случиться.

Ван Хассельт со своим маленьким отрядом отправился назад в лагерь лесорубов, а вскоре и Стрэттон посадил в лодки своих двадцать сикхов, оставив Олбену его сержанта и полицейских, чтобы те приняли надлежащие меры, а сам отплыл в Порт-Уоллес. Олбен вручил ему краткий отчет для передачи губернатору. У него было много дел. Судя по всему, ему предстояло порядком здесь задержаться, а так как все строения конторы сгорели дотла и сам он был вынужден разместиться в хижине кули, он счел за лучшее, чтобы Энн оставалась дома, и послал ей соответствующую записку. Он был рад, что смог успокоить ее насчет судьбы несчастной сожительницы Принна. Сам он сразу же приступил к предварительному дознанию. Он допросил кучу свидетелей. Но через неделю Олбену пришел приказ немедленно прибыть в Порт-Уоллес на том же катере, который доставил ему это распоряжение. По пути ему удалось лишь на какой-то час повидаться с Энн. Олбен был несколько раздосадован.

— Не понимаю, почему губернатор не дал мне наладить дела, вызвав к себе. Это крайне

неудобно.

— Боже мой, когда это губернатора волновало, удобны или неудобны для подчиненных его распоряжения? — улыбнулась Энн.

— Бюрократизм чистейшей воды. Я бы взял тебя с собой, дорогая, но только я не задержусь там ни минуты сверх необходимого. Хочу как можно скорее подготовить материалы для выездного суда. В такой стране, как эта, очень важно, чтобы правосудие не запаздывало.

Когда катер подошел к Порт-Уоллесу, один из портовых полицейских сказал Олбену, что у начальника порта его ждет записка. Записка была от секретаря губернатора. Олбена уведомляли, что по прибытии он должен как можно скорее явиться к его превосходительству. Было десять утра. Олбен пошел в клуб, принял ванну, побрился, надел чистые брюки, аккуратно пригладил светлые волосы, вызвал рикшу и велел отвезти себя к губернатору. Его сразу же провели в кабинет секретаря. Тот пожал ему руку.

— Пойду доложу начальству, что вы здесь, а вы пока присядьте, — сказал он.

Вскоре секретарь вернулся.

— Его превосходительство через минуту вас примет. Если не возражаете, я закончу разбирать

письма.

Олбен улыбнулся. Нельзя сказать, чтобы секретарь был очень разговорчив. Он ждал, покуривая сигарету, и развлекался собственными мыслями. Предварительное дознание он провел успешно, ему было интересно им заниматься. Наконец явился дежурный и сказал, что губернатор готов его принять. Олбен встал и проследовал за ним в кабинет губернатора.

— Доброе утро, Торел.

— Доброе утро, сэр.

Губернатор сидел за большим письменным столом. Он кивнул Олбену и указал на стул. Во внешности губернатора превалировал серый цвет — седые волосы, серое лицо, серые глаза; он вообще выглядел так, будто выцвел на тропическом солнце. Он прожил в этой стране тридцать лет и шаг за шагом прошел все ступени служебной лестницы. Сейчас он казался усталым и удрученным. Даже голос его звучал как-то тускло. Олбену губернатор нравился потому, что был человеком спокойным. Он не считал губернатора умным, но, бесспорно, никто лучше его не знал эту страну, а огромный опыт с успехом заменял ему ум. Губернатор, не говоря ни слова, остановил на Олбене долгий взгляд, и тому пришла в голову

странная мысль, что губернатор в замешательстве. Он чуть было не заговорил первым.

— Вчера я встречался с Ван Хассельтом, — внезапно произнес губернатор.

— Да, сэр?

— Изложите, пожалуйста, свою версию того, что произошло на плантации Алуд, и доложите о принятых вами мерах.

У Олбена был весьма упорядоченный ум. Он вполне владел собой. Он знал все факты, выстроил стройную аргументацию и смог четко изложить дело. Он тщательно подбирал слова и ни разу не запнулся.

— В вашем распоряжении имелись один сержант и восемь полицейских. Почему вы не отправились немедленно на место происшествия?

— Я не хотел идти на неоправданный риск.

На сером лице губернатора обозначилась легкая усмешка.

— Если бы офицеры нашего правительства колебались идти на неоправданный риск, эта страна никогда не стала бы частью Британской империи.

Олбен молчал. Трудно было разговаривать с человеком, который говорит явную чепуху.

— Я хочу услышать, на каких основаниях вы

приняли решение.

Олбен спокойно изложил эти основания. Он был совершенно убежден в правильности своих действий. Сейчас он лишь повторил более развернуто то, что ранее говорил жене. Губернатор внимательно слушал.

— Ван Хассельт со своим управляющим, голландским приятелем и надсмотрщиком-туземцем, похоже, отлично справился с ситуацией, — сказал губернатор.

— Ему просто повезло. Но это не мешает ему быть круглым дураком. То, что он сделал, было безумием.

— Вы хоть понимаете, что, предоставив голландскому плантатору выполнить за вас ваше дело, вы поставили колониальную администрацию в смешное положение?

— Нет, сэр.

— Вы сделались посмешищем для всей колонии.

Олбен улыбнулся:

— У меня достаточно крепкие нервы, чтобы вынести насмешки людей, мнение которых мне абсолютно безразлично.

— Ценность должностного лица в очень многом зависит от его престижа. Боюсь, этот престиж

очень пострадает, когда его заклеймят как труса.

Олбен слегка покраснел.

— Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, сэр.

— Я вник в это дело. Я поговорил с капитаном Стрэттоном и с Окли, помощником несчастного Принна, говорил и с Ван Хассельтом. А сейчас я выслушал ваши оправдания.

— Не знал, что я в чем-то оправдываюсь, сэр.

— Будьте добры, не прерывайте меня. Я считаю, что вы совершенно неверно оценили ситуацию. Как оказалось, риск был очень невелик, но каков бы он ни был, вам следовало пойти на этот риск. В таких случаях дело решают быстрота и твердость. Не стану гадать, какие мотивы побудили вас послать за полицейским подкреплением и ничего не предпринимать, пока оно не прибыло. Боюсь, однако, что вы уже не можете быть полезны нам как представитель администрации.

Олбен смотрел на губернатора с изумлением.

— А сами вы бросились бы на место происшествия, учитывая обстоятельства? — спросил он.

— Да.

Олбен пожал плечами.

— Вы мне не верите? — взорвался губернатор.

— Конечно, верю, сэр. Но может быть, вы позво-

лите мне сказать, что, если бы вас убили, колония понесла бы невосполнимую утрату.

Губернатор барабанил по столу пальцами. Он посмотрел в окно, потом снова на Олбена. Когда он заговорил, голос его прозвучал отнюдь не сердито.

— Думаю, Торел, что по своему темпераменту вы не годитесь для нашей довольно-таки грубой жизни, такой, где важно выстоять в драке. Последуйте моему совету и возвращайтесь в Англию. Уверен, что с вашими способностями вы скоро подыщете себе гораздо более подходящее занятие.

— Боюсь, я не понимаю, что вы хотите сказать.

— Бросьте, Торел, вы же не тупица. Я пытаюсь облегчить вам жизнь. Ради вашей жены, да и вас самого, я не хочу, чтобы вы уехали из колонии с клеймом человека, уволенного за трусость. Я даю вам возможность самому подать в отставку.

— Очень благодарен вам, сэр, но я не собираюсь воспользоваться этой возможностью. Подав в отставку, я тем самым признаю себя виноватым, а предъявленное вами обвинение — справедливым. Я же этого не признаю.

— Как вам угодно. Я рассмотрел дело очень тщательно, и у меня сложилось вполне опре-

деленное мнение. Я вынужден уволить вас с государственной службы. Все необходимые документы вы получите в надлежащее время, а пока что возвращайтесь на свой пост и готовьтесь сдать дела чиновнику, которого назначат вашим преемником.

— Очень хорошо, сэр, — ответил Олбен, и в глазах его мелькнула радость. — Когда вы желаете, чтобы я вернулся в мой округ?

— Немедленно.

— Вы не возражаете, если я схожу в клуб и позавтракаю, перед тем как отбыть?

Губернатор поглядел на него с изумлением. Несмотря на раздражение, он невольно восхищался Олбеном.

— Отнюдь нет. Сожалею, Торел, что этот злополучный инцидент лишил администрацию сотрудника, рвение которого бросалось в глаза, а такт, ум и трудолюбие, казалось, предвещали в будущем очень высокий пост.

— Ваше превосходительство, вероятно, не читает Шиллера и, судя по всему, не знакомы с его знаменитой строкой: «Mit der Dummheit kampfen die Gotter selbst vergebens».

— Что это значит?

— «Против глупости сами боги бороться бес-

сильны». Примерно так.

— Всего хорошего.

С высоко поднятой головой и с улыбкой на губах Олбен покинул кабинет губернатора. Последнему не было чуждо ничто человеческое, и позднее любопытство побудило его спросить секретаря, действительно ли Олбен Торел пошел в клуб.

— Да, сэр. Он там позавтракал.

— Ну и выдержка у этого человека.

Олбен вошел в клуб беспечной походкой и присоединился к группе мужчин, толпившихся у бара. Он заговорил с ними своим обычным самоуверенным, но любезным тоном, который, как он считал, создает атмосферу непринужденности. Они обсуждали Олбена с тех самых пор, как Стрэттон вернулся в Порт-Уоллес со своей историей, издевались и смеялись над ним, а те, кому было не по нраву его высокомерие — и таких было большинство, — торжествовали, что гордец споткнулся и упал. Они смешались, когда увидели Олбена таким же самоуверенным, как и прежде. Это они, а не он испытывали неловкость.

Кто-то спросил, хотя прекрасно все знал, что он делает в Порт-Уоллесе.

— Прибыл в связи с бунтом на плантации Алуд. Его Превосходительство пожелал меня видеть.

Увы, наши точки зрения на то, что произошло, не совпали. Старый осел уволил меня. Как только сдам дела новому начальнику округа, возвращаюсь в Англию.

Возникло некоторое замешательство. Один из мужчин, более добродушный, чем другие, произнес:

— Очень жаль.

Олбен пожал плечами:

— Голубчик, что прикажете делать с круглым дураком? Только предоставить ему вариться в собственном соку.

Когда секретарь губернатора передал шефу ровно столько, сколько счел нужным, губернатор улыбнулся:

— Мужество — странная штука. Будь я на его месте, я бы скорей застрелился, чем вот так пошел в клуб, зная, что встречусь там со всеми нашими.

Через две недели, продав новому начальнику округа все убранство дома, над которым в свое время столько потрудилась Энн, упаковав остальное имущество в чемоданы и сундуки, они прибыли в Порт-Уоллес, чтобы там дождаться парохода местной линии, который должен был доставить их в Сингапур. Жена католического священника пригласила их пожить у нее, но Энн

отказалась. Она настояла на том, чтобы остановиться в гостинице. Через час после их прибытия ей принесли очень любезное письмо от жены губернатора с приглашением на чашку чая. Она поехала. Миссис Хэнни была одна, но через минуту к ней присоединился сам губернатор. Он выразил сожаление по поводу отъезда Энн и сказал, что очень огорчен его причиной.

— Спасибо за добрые слова, — сказала Энн, весело улыбаясь, — но не думайте, что я очень расстраиваюсь. Я полностью на стороне Олбена. По-моему, он был абсолютно прав, и, уж простите меня, я считаю, что вы поступили с ним ужасно несправедливо.

— Поверьте, я пошел на этот шаг скрепя сердце.

— Не будем об этом говорить, — промолвила Энн.

— Что собираетесь делать в Англии? — спросила миссис Хэнни.

Энн принялась оживленно болтать. Можно было подумать, что у нее нет никаких забот. Она, казалось, с радостью предвкушала возвращение в Англию, была весела, много шутила, а прощаясь с губернатором и его супругой, поблагодарила их за сердечность и доброту. Губернатор проводил

ее до дверей.

Через два дня они вечером погрузились на небольшой, но чистенький и комфортабельный пароход. Их провожали священник и его жена. Когда Олбен и Энн вошли в каюту, то обнаружили на койке Энн большой пакет, адресованный Олбену. Вскрыв пакет, Олбен увидел огромную пуховку.

— Вот те на — кто, интересно, это прислал? — сказал он со смехом. — Должно быть, это для тебя, дорогая.

Энн бросила на него быстрый взгляд. Она побледнела. Скоты! Как можно быть такими жестокими? Однако она заставила себя улыбнуться.

— Вот так пуховка. Я такой огромной в жизни не видела.

Но когда пароход вышел в открытое море, она со злостью выбросила пуховку за борт.

Даже теперь, в Лондоне, когда от Сондуры их отделяло девять тысяч миль, кулаки Энн сжимались при воспоминании об этом. Почему-то случай с пуховкой казался особенно обидным. Такая бессмысленная жестокость — послать этот абсурдный предмет Олбену, Перси-пуховке, такая мелочная злоба. Но, видимо, такое у них чувство юмора. Ничто ее так не уязвило. Даже сейчас при

воспоминании об этой пуховке она чувствовала, что если не будет держать себя в руках, то разрыдается.

Вдруг она вздрогнула — дверь открылась, и вошел Олбен. Он оставил ее сидящей в кресле — и там же нашел ее.

— Привет, почему ты еще не одета? — Олбен оглядел комнату. — Ты до сих пор не распаковала вещи?

— Нет.

— А почему, скажи на милость?

— Я не собираюсь их распаковывать. Я здесь не останусь. Я ухожу от тебя.

— Что такое ты говоришь?

— До сих пор я сдерживалась. Решила молчать, пока не вернемся в Англию. Я стискивала зубы, превозмогала себя, но сейчас все кончено. Я сделала все, что от меня требовалось. Мы снова в Лондоне, и теперь я могу уйти.

Он смотрел на нее совершенно ошеломленный.

— Ты что, с ума сошла, Энн?

— Ах, Боже мой, что я вынесла! Рейс до Сингапура, когда все офицеры, все, от капитана до мичмана, знали — и даже китайские стюарды знали. А в Сингапуре — какие взгляды бросали

на нас люди в гостинице, их сочувственные замечания, которые мне приходилось терпеть, их неловкость и смущение, когда они осознавали свой промах. Боже мой, мне хотелось всех их убить. Это бесконечное путешествие. На пароходе не было ни одного пассажира, который не знал бы. Презрение, с которым они относились к тебе, и подчеркнуто доброе обхождение со мной. А ты был таким самодовольным, таким спокойным, ничего не замечал, ничего не чувствовал. Должно быть, у тебя не кожа, а шкура носорога. Мне жутко было смотреть, как ты с ними болтаешь и любезничаешь. Парии — вот кем мы были. Ты словно напрашивался на то, чтобы тебя осадили. Как можно до такой степени утратить стыд?

Она пылала от гнева. Теперь наконец-то ей не надо носить маску безразличия и гордости, и она отбросила всякую сдержанность, потеряла контроль над собой. Слова бешеным потоком срывались с ее дрожащих губ.

— Дорогая, но ведь это абсурд, — возразил он с добродушной улыбкой. — Ты разнервничалась, не выдержала напряжения, оттого тебе и взбрело в голову невесть что. Почему ты мне ничего не сказала? Ты похожа на деревенщину, который приезжает в Лондон и думает, что все только на

него и смотрят. Никому до нас не было дела, а если и было, то какое это имело значение? Вот уж не думал, что ты, такая умница, станешь принимать к сердцу то, что говорят всякие дураки. Ну и что, по-твоему, они говорили?

— Они говорили, что тебя выгнали.

— Что ж, это правда, — рассмеялся он.

— Они говорили, что ты трус.

— Ну и что из того?

— Вся беда в том, что это тоже правда.

Он посмотрел на нее, как бы размышляя. Губы его чуть сжались.

— Почему ты так думаешь? — спросил он холодно.

— Я увидела страх в твоих глазах, когда пришло известие о бунте, когда ты отказался отправиться на плантацию и когда я побежала за тобой в переднюю, куда ты пошел за шлемом. Я умоляла тебя, я знала, что хоть и опасно, но ты обязан принять вызов, и вдруг увидела в твоих глазах страх. Это было так жутко, я чуть не потеряла сознание.

— Глупо было бессмысленно рисковать жизнью. С какой стати? На карте не стояло ничего такого, что касалось бы лично меня. Храбрость — добродетель глупых. Я не считаю ее ценным

качеством.

— То есть как это на карте не стояло ничего такого, что касалось бы лично тебя? Если это правда, значит, вся твоя жизнь — притворство. Ты легко отбросил то, во что верил, мы оба верили. Ты нас предал. Мы и вправду ставили себя высоко, считали себя лучше других, потому что любим литературу, искусство, музыку, мы не желали ограничивать свою жизнь мелкой завистью и обывательскими сплетнями, мы дорожили духовными ценностями, любили красоту. Это питало нас. Над нами смеялись, а то и глумились. Этого было не избежать. Невежды и мещане нутром ненавидят и боятся тех, чьи интересы выше их понимания. Но нам было все равно. Мы называли их филистерами, мы презирали их и имели на то право. Нашим оправданием было то, что мы лучше, благороднее, умнее и мужественней, чем они. Но ты оказался не лучше, не благородней, не мужественней. В решающую минуту ты спрятался, как побитая собака, поджав хвост. А ведь из всех людей именно ты не имел права быть трусом. Теперь они презирают нас обоих и имеют на это право. Презирают нас и все, что мы олицетворяли. Теперь они могут говорить, что искусство и красота — вздор. Что, когда прихо-

дится туго, такие люди, как ты, всегда подводят. Они все время искали повода наброситься на нас и растерзать — и ты дал им повод. Теперь они вправе говорить, что этого следовало ожидать. Для них это настоящее торжество. Меня, бывало, приводило в бешенство, что они называли тебя Перси-пуховка. Ты знал, что тебя так называли?

— Конечно. Я считал это прозвище очень вульгарным, но меня оно нисколько не задевало.

— Забавно, что они не обманулись.

— Ты хочешь сказать, что все эти недели осуждала меня, но скрывала это? Вот уж не думал, что ты на такое способна.

— Я не могла тебя бросить, когда все были против тебя. Гордость не позволяла. Я поклялась — что бы ни случилось, я буду с тобой, пока мы не вернемся на родину. Это была пытка.

— Разве ты меня больше не любишь?

— Не люблю? Ты мне гадок!

— Энн!

— Видит Бог, как я любила тебя. Восемь лет я боготворила землю, по которой ты ходишь. Ты был для меня всем. Я верила в тебя, как другие верят в Бога. Когда в тот день я увидела страх в твоих глазах, когда ты сказал, что не станешь рисковать жизнью ради туземной содержанки и

ее детей-полукровок, это меня подкосило. Словно у меня вырвали из груди сердце и растоптали. Вот тогда-то ты и убил во мне любовь, Олбен. Убил наповал. С тех пор всякий раз, когда ты целовал меня, мне приходилось стискивать руки, чтобы не отвернуться. Одна только мысль о близости вызывает у меня физическое отвращение. Мне противны твое самодовольство и твоя ужасная бесчувственность. Может, я могла бы простить тебя, если б то была просто минутная слабость, которой ты потом устыдился. Мне было бы горько, но, думаю, большая любовь к тебе заставила бы меня пожалеть тебя. Но ты не способен испытывать стыд. Теперь я ничему не верю. Ты всего-навсего глупый, претенциозный, вульгарный позер. Я предпочла бы стать женой заурядного плантатора, лишь бы у него были обычные человеческие достоинства, чем быть женой такого фальшивого человека, как ты.

Он не отвечал. Постепенно красивые, правильные черты его лица исказились в гримасу плача, и он разразился громкими рыданиями. Она вскрикнула:

— Не надо, Олбен, не надо.

— Ах, дорогая, как ты можешь быть такой жестокой со мной? Я обожаю тебя. Я отдал бы

жизнь, только б ты была довольна. Я не могу без тебя жить.

Она вытянула руки, словно отражая удар.

— Нет, нет, Олбен, не пытайся меня растрогать. Не могу. Я должна уйти. Я не могу больше жить с тобой. Это было бы ужасно. Я никогда не смогу забыть. Скажу тебе всю правду: ты вызываешь во мне только презрение и отвращение.

Олбен бросился к ее ногам и пытался обнять ее колени, но она, ахнув, отскочила, и он зарылся головой в пустое кресло. Он плакал мучительно, рыдания разрывали ему грудь. Звук их был страшен. Из глаз Энн текли слезы. Зажав уши, чтобы не слышать этих ужасных, истерических рыданий, спотыкаясь, как слепая, она бросилась к двери и выбежала из номера.

СОСУД ГНЕВА

© Перевод. И. Доронина, 2009

На свете не так много книг, дающих больше пищи воображению, чем «Руководство для мореплавателей», изданное Департаментом гидрографии по заказу лордов-представителей[3] Адмиралтейства. Это красивые тома в тканевых (из очень тонкой ткани) переплетах разного цвета, притом даже самые дорогие из них весьма дешевы. За четыре шиллинга вы можете приобрести «Лоцию по Янцзы[4]», «содержащую описание и лоцманские указания для путешествия по Янцзы от реки Вусун до конца судоходного маршрута, включая реки Ханьцзян, Ялунцзян и Миньцзян»; а за три шиллинга получите третий том «Лоцманского путеводителя по Восточному архипелагу», «включая северо-восточную оконечность острова Целебес, остров Джилоло, Молуккский пролив, море Банда и Арафурское море, а также северное,

[3] Примечания: 3

Номинальные должности, на которые назначаются специально уполномоченные лорды.

[4] Примечания: 4

Полное название — Янцзыцзян, что в переводе означает Длинная река.

западное и юго-западное побережья Новой Гвинеи». Однако такое приобретение небезопасно, если вы человек устоявшихся привычек, кои не имеете намерения менять, или если в силу рода занятий вы крепко привязаны к месту. Эти имеющие на первый взгляд сугубо практическое назначение книги поманят вас в завораживающее мысленное путешествие; и их сухой стиль, безупречная систематизация, сжатость изложения материала и строгая утилитарность подробнейшей информации не затмят поэзии, которая подобно напоенному пряными ароматами бризу, овевающему более чем реальной истомой, когда приближаешься к какому-нибудь из этих волшебных островов Восточных морей, пахнёт на вас сквозь печатные страницы сладостным благоуханием. Из них вы узнаете о якорных стоянках и пристанях, о том, где и чем можно пополнить запасы, где набрать питьевой воды; они расскажут все о маяках и бакенах, приливах, ветрах и погоде, которая будет вас ожидать. Они снабдят вас краткой информацией о населении и местных ремеслах. И вас поразит, сколь многое вы ощутите сверх того, при всей сдержанности и немногословности изложения. Что именно? Да хотя бы таинственность и кра-

соту, романтику и очарование неведомого. Это, конечно же, необычная книга, если, праздно листая ее страницы, вы натыкаетесь на такой вот абзац: «Природные ресурсы. В местных джунглях сохраняется некоторое количество дичи, остров служит также пристанищем многочисленных морских птиц. В лагунах обитают черепахи и водится огромное множество разнообразных рыб, в том числе серая кефаль, акулы, морской налим; ловля неводом неэффективна, но многие разновидности рыб можно ловить на удочку. В хижине для потерпевших кораблекрушение всегда хранится небольшой запас консервов и спиртного. Питьевую воду можно брать из колодца неподалеку от пристани». Что еще требуется воображению, чтобы отправиться в путешествие сквозь время и пространство?

В том же томе, из которого я списал этот абзац, составители с присущим им лаконизмом описывают Аласские острова, «большей частью низменные и поросшие лесом, протянувшиеся приблизительно на 75 миль с востока на запад и на 40 — с севера на юг». Сведения о них, сообщают нам, весьма скудны; группы островов отделены друг от друга проливами, судам случается проходить по ним, однако судоходство там

недостаточно освоено и местонахождение многих опасных препятствий не уточнено, поэтому рекомендуется избегать этих путей.

Население островов составляет около восьми тысяч человек, 200 из них — китайцы, 400 — магометане. Остальные — язычники. Главный остров называется Бару, он окружен рифом и служит местопребыванием голландского наместника. Его белый дом под красной крышей на вершине невысокого холма является самым приметным ориентиром для тех судов Голландской королевской почтово-пассажирской пароходной компании, которые каждый второй месяц заходят на остров по пути в Макассар, и тех, которые каждую четвертую неделю следуют в Мерауке, что в голландской Новой Гвинее.

В некий исторический период тамошним наместником был минхер Эверт Грюйтер, который правил населяющим Аласские острова народом с жесткостью, смягченной, однако, незаурядным чувством юмора. То, что он был назначен на столь важный пост в двадцатисемилетнем возрасте, представлялось ему весьма удачной шуткой и продолжало забавлять, даже когда ему исполнилось тридцать. Между его островами и Батавией не существовало телеграфной связи,

а почта доставлялась с таким опозданием, что даже обратись он к властям за советом, к тому времени, когда бы он его получил, тот утратил бы всякую актуальность, поэтому наместник спокойно делал то, что считал нужным, уповая на везение, которое, даст Бог, отведет от него неприятности. Он был очень мал ростом — не более пяти футов четырех дюймов, чрезвычайно толст, и на лице его всегда играл здоровый румянец. Из-за жары голову он брил наголо и не носил ни бороды, ни усов. Лицо было гладким, круглым и красным, брови настолько светлыми, что их почти не было видно, а голубые глаза — маленькими и постоянно моргающими. Понимая, что в такой внешности маловато достоинства, он восполнял его недостаток тем, что щегольски одевался. Ведя дела в своей канцелярии или в суде, да и просто выходя из дома, он всегда бывал в безукоризненно белом мундире. Форменный китель с начищенными до блеска медными пуговицами плотно облегал его, выдавая то скандальное обстоятельство, что, несмотря на молодость, он имел круглый и сильно выдающийся вперед живот. Его добродушное лицо лоснилось от пота, и он, как веером, безостановочно обмахивался пальмовым листом.

Зато дома мистер Грюйтер предпочитал облачать свое белое короткое тело в один лишь саронг и выглядел в нем как смешной толстый шестнадцатилетний подросток. Он был ранней птахой, и к шести утра его уже ждал завтрак, всегда состоявший из одного и того же: ломтик папайи, холодная яичница из трех яиц, тонко нарезанный эдамский сыр и чашка черного кофе. Расправившись со всем этим, он закуривал большую голландскую сигару, просматривал газеты, если не успевал к тому времени прочесть их уже все насквозь, после чего одевался, чтобы спуститься в свой кабинет.

Однажды утром, когда он предавался обычным занятиям, в спальню вошел старший бой и доложил, что туан Джонс интересуется, не сможет ли мистер Грюйтер принять его. Мистер Грюйтер в этот момент стоял перед зеркалом. На нем были лишь брюки, и он любовался своей гладкой безволосой грудью. Немного ссутулившись, чтобы скрыть брюшко, он удовлетворенно и смачно похлопал себя по груди. То была грудь настоящего мужчины. Когда бой огласил свое известие, мистер Грюйтер посмотрел прямо в глаза собственному отражению в зеркале и обменялся с ним лукавой усмешкой. Какого черта

могло понадобиться этому визитеру, мысленно поинтересовался он. Эверт Грюйтер говорил по-английски, по-голландски и на малайском одинаково бегло, но думать предпочитал по-голландски. Так ему нравилось. Этот язык привлекал его некоторой брутальностью.

— Попроси туана подождать и скажи, что я сейчас выйду.

Он надел китель прямо на голое тело, застегнул его на все пуговицы и величественно проследовал в гостиную. Преподобный Оуэн Джонс поднялся ему навстречу.

— Доброе утро, мистер Джонс, — сказал наместник. — Надеюсь, вы пришли, чтобы пропустить со мной стаканчик виски с содовой, прежде чем я приступлю к своим ежедневным обязанностям?

Мистер Джонс не улыбнулся.

— Я пришел по очень неприятному поводу, мистер Грюйтер, — ответил он.

Наместника ничуть не смутила серьезность посетителя и не раздосадовали его слова. Его маленькие голубые глазки блестели по-прежнему безмятежно-приветливо.

— Присаживайтесь, друг мой, и угоститесь сигарой.

Мистер Грюйтер отлично знал, что преподоб-

ный Оуэн Джонс не пьет и не курит, но озорство, свойственное его натуре, всегда разбирало его при виде преподобного, и он каждый раз предлагал ему выпить и закурить. Миссионер покачал головой.

Мистер Джонс руководил баптистской миссией на Аласских островах. Его резиденция находилась на самом крупном и густонаселенном из них, Бару, однако на нескольких других островах архипелага имелись молельные дома, остававшиеся под присмотром его помощников из числа аборигенов. Это был высокий, худой, меланхоличный мужчина лет сорока, с продолговатым костлявым лицом, туго обтянутым землистого цвета кожей. Его каштановые волосы уже поседели на висках, а на лбу образовались залысины. Все это придавало ему вид отрешенного интеллектуала. Мистер Грюйтер хоть и не любил, но уважал его. Не любил за узость взглядов и склонность к догматизму. Его, жизнерадостного язычника, обожавшего плотские радости и настроенного по максимуму извлекать их из любых обстоятельств, раздражал человек, который осуждал земные радости как таковые. Наместник считал, что обычаи этой страны абсолютно естественны для ее обитателей, и его выводили

из себя настоятельные усилия миссионера разрушить местный жизненный уклад, который так исправно функционировал на протяжении веков. Уважал же он его за то, что тот был честен, усерден и добр. Мистер Джонс, австралиец валлийского происхождения, являлся единственным профессиональным врачом на архипелаге, и было утешительно сознавать, что в случае болезни не придется полагаться лишь на китайского лекаря; кому, как не наместнику, было знать, сколь действенно врачебное искусство мистера Джонса и с какой щедростью он его расточает. Когда случались эпидемии инфлюэнцы, миссионер работал за десятерых, и никакой шторм, если только он не сопровождался тайфуном, не мог помешать ему носиться с острова на остров — повсюду, где нуждались в его помощи.

Миссионер жил с сестрой в маленьком белом домике в полумиле от деревни и, когда наместник прибыл к месту службы, взошел на борт корабля, чтобы приветствовать его и предложить ему свое гостеприимство до того момента, когда собственный дом мистера Грюйтера будет приведен в надлежащий порядок. Наместник принял приглашение и вскоре воочию убедился, что брат с сестрой вели жизнь простую и скром-

ную. По нему, так слишком простую и скромную. Чай и весьма скудная еда три раза в день. А когда он зажег сигару, мистер Джонс вежливо, но твердо попросил его оказать ему любезность не курить в их доме, поскольку они с сестрой курения не одобряют. Продержавшись сутки, мистер Грюйтер съехал в свою резиденцию. В сущности, сбежал, как из чумного города, испытывая едва ли не панику. Наместник умел ценить шутку и любил посмеяться; постоянно находиться рядом с человеком, который любой вздор воспринимает с убийственной серьезностью и никогда не улыбается даже самым удачным твоим байкам, было выше его сил. Преподобный Оуэн Джонс, несомненно, являлся человеком достойным, но терпеть его общество было совершенно невыносимо. Сестра его была и того хуже. И у него, и у нее начисто отсутствовало чувство юмора, но если миссионер характер имел меланхолический и добросовестно выполнял свой долг вопреки глубокому убеждению, что все в этом мире безнадежно, то мисс Джонс была неисправимой оптимисткой и никогда не унывала. Она неумолимо находила во всем светлые стороны. С беспощадностью ангела мщения она выискивала в ближних доброе начало. Мисс Джонс препода-

вала в миссионерской школе и помогала брату в его врачебных трудах. Когда он оперировал, она давала наркоз и в маленькой больнице, которую мистер Джонс по собственной инициативе открыл при миссии, выполняла обязанности и сестры-хозяйки, и ассистентки, и санитарки. Но наместник был человеком непробиваемым и никогда не упускал случая посмеяться над суровой борьбой преподобного Оуэна с людскими пороками и несокрушимым оптимизмом мисс Джонс. Тешился как мог. Голландские суда заходили на остров трижды каждые два месяца, всего на несколько часов, и у наместника появлялась возможность поболтать с капитаном и старшим механиком, но иногда — очень редко — с острова Четверга или из порта Дарвин прибывал люггер, промышлявший добычей жемчуга, вот тогда праздник длился два-три дня кряду. Эти ловцы жемчуга были чаще всего ребятами грубыми, зато лихими, и у них всегда было вдоволь выпивки на борту и невероятное количество морских баек в запасе, так что наместник с удовольствием приглашал их к себе и давал превосходный ужин в их честь; удавшимся прием считался лишь в том случае, если среди приглашенных не оставалось ни одного человека, достаточно трезвого, чтобы

вернуться на корабль.

Единственным, помимо миссионера, белым мужчиной на Бару был Рыжий Тед, вне всяких сомнений являвший собою позор цивилизации. Ни единого доброго слова нельзя было сказать в его оправдание. Своим поведением он дискредитировал всю белую расу. Однако, несмотря на это, наместник иногда думал, что, если бы не Рыжий Тед, жизнь на острове Бару была бы для него трудновыносима.

Тем более странно, что именно из-за этого паршивца мистер Джонс, которому надлежало бы в данный момент наставлять юных дикарей по части таинств баптистской веры, счел необходимым нанести мистеру Грюйтеру столь ранний визит.

— Присаживайтесь, мистер Джонс, — повторил наместник. — Чем могу служить?

— Видите ли, я пришел поговорить с вами о человеке, которого все здесь называют Рыжим Тедом. Что вы намерены предпринять теперь?

— Теперь? А что случилось?

— Вы не слышали? Я полагал, что сержант вам доложил.

— Я не поощряю визитов своих подчиненных в мой дом без крайней необходимости, — весьма

торжественно произнес наместник. — В отличие от вас, мистер Джонс, я работаю только ради того, чтобы иметь досуг, и не люблю, когда мой досуг нарушают.

Но мистер Джонс не был расположен к пустой болтовне, и его не интересовали отвлеченные рассуждения.

— Вчера вечером в одной из китайских лавок произошла безобразная драка. Рыжий Тед разгромил все помещение и чуть не убил китайца.

— Опять напился, надо думать, — безмятежно заметил наместник.

— Естественно. Разве он вообще бывает трезв? А когда вызвали полицию, он и на сержанта набросился. Шесть человек понадобилось, чтобы скрутить его и доставить в тюрьму.

— Да, он здоровяк, — согласился наместник.

— Надеюсь, теперь вы отправите его в Макассар?

На гневный взгляд миссионера Эверт Грюйтер ответил веселым прищуром. Он был не дурак и уже прекрасно понял, чего добивается мистер Джонс. Представлялся удобный случай поразвлечься и немного подразнить его.

— К счастью, моих полномочий вполне достаточно, чтобы разобраться с ним самому, — от-

ветил он.

— В вашей власти депортировать любого, кого вы сочтете нужным, мистер Грюйтер, а я уверен, что, избавившись от этого человека, можно избежать многих неприятностей.

— Власть у меня, разумеется, есть, но, уверен, вы будете последним человеком, который одобрит произвол с моей стороны.

— Мистер Грюйтер, присутствие здесь этого человека скандализует общество. Он постоянно, с раннего утра до позднего вечера, пьян; притом общеизвестно, что он одну за другой совращает туземных женщин.

— А вот это любопытно, мистер Джонс. Принято считать, что излишнее потребление алкоголя, стимулируя сексуальное влечение, в то же время препятствует его удовлетворению. То, что вы рассказываете о Рыжем Теде, похоже, подрывает основы этой теории.

На щеках миссионера проступил тусклый румянец.

— Это вопрос физиологии, который я в настоящий момент не имею желания обсуждать, — холодно заметил он. — Поведение этого человека наносит непоправимый урон престижу белой расы, дурной пример, им подаваемый, в значи-

тельной мере сводит на нет те усилия, которые предпринимаются другими, чтобы склонить местное население к менее порочному образу жизни. Он отъявленный негодяй.

— Простите за любопытство: а вы предпринимали какие-нибудь усилия, чтобы образумить его?

— Когда он впервые появился здесь, я сделал все, что в моих силах, чтобы найти с ним общий язык. Он отверг все мои поползновения. Когда случился первый скандал, я пришел к нему и высказал все начистоту. Он ответил мне бранью.

— Никто более меня не ценит ту чрезвычайно нужную работу, которую вы и другие миссионеры ведете на здешних островах, но можете ли вы с уверенностью сказать, что всегда следуете своему предназначению со всей необходимой деликатностью?

Наместник остался весьма доволен этой фразой. Она была исключительно куртуазной и в то же время содержала упрек, который он считал нелишним. Миссионер серьезна посмотрел на него. Взгляд его печальных карих глаз был полон укоризны.

— А достаточно ли деликатен был Иисус, когда взял бич и выгнал менял из храма? Нет, мистер

Грюйтер, деликатность — это отговорка, коей слабый человек оправдывает нежелание выполнять свой долг.

Изречение мистера Джонса неуместно вызвало у мистера Грюйтера острое желание выпить пива. Миссионер доверительно склонился к нему:

— Мистер Грюйтер, вам не хуже, чем мне, известны дурные поступки этого человека. Мне нет нужды напоминать вам о них. Они непростительны. Теперь же он и вовсе преступил все границы. Лучшего шанса, чем сейчас, у вас не будет. Умоляю вас воспользоваться властью, вам данной, чтобы избавиться от него раз и навсегда.

Глаза наместника сверкнули еще более лукаво. Он от души забавлялся. От общения с людьми получаешь гораздо больше удовольствия, если не обязан ни восхвалять, ни осуждать их, мысленно отметил он.

— Правильно ли я понял вас, мистер Джонс? Вы хотите получить от меня обещание депортировать этого человека прежде, чем я выслушаю обвинения против него и его оправдания?

— Не представляю, что он может сказать в свое оправдание.

Наместник встал, и ему даже удалось придать какое-никакое достоинство своим пяти футам

четырем дюймам.

— Я поставлен здесь, чтобы вершить правосудие в соответствии с законами голландского государства. Позвольте заметить: я несказанно удивлен тем, что вы пытаетесь оказать давление на меня в части исполнения мною судейских полномочий.

Миссионер несколько смешался. Ему и в голову не могло прийти, что этот коротышка-молокосос, который был на десять лет моложе его самого, займет подобную позицию. Он открыл было рот, чтобы объясниться и принести извинения, но наместник поднял свою маленькую ручку.

— Мне пора приступать к моим служебным обязанностям, мистер Джонс. Желаю всего наилучшего.

Обескураженный миссионер поклонился и, не произнеся больше ни слова, вышел. Он бы крайне изумился, если бы увидел, что сделал наместник, стоило лишь мистеру Джонсу повернуться к нему спиной. С широкой ухмылкой тот приставил к кончику носа большой палец и, помахав остальными, показал преподобному Оуэну Джонсу «длинный нос».

Через несколько минут он спустился к себе в канцелярию. Старший клерк, голландец-метис,

представил ему свою версию событий предыдущего вечера. Она почти полностью совпадала с версией мистера Джонса. Суд заседал как раз в тот день.

— Не прикажете ли сначала привести Рыжего Теда, сэр? — спросил старший клерк.

— Не вижу для этого никаких оснований. С прошлого заседания осталось два или три не рассмотренных дела. Я займусь Тедом в порядке очередности.

— Я просто подумал, сэр, что, поскольку он белый, вы захотите побеседовать с ним в приватной обстановке.

— Величие закона состоит в том, друг мой, что он не делает различия между белыми и цветными, — с некоторым пафосом произнес мистер Грюйтер.

Зал суда представлял собой просторное квадратное помещение с деревянными скамьями, на которых, сгрудившись, сидели аборигены всех мастей — полинезийцы, китайцы, малайцы… Когда отворилась дверь и сержант оповестил о прибытии наместника, все встали. Наместник появился в сопровождении своего секретаря и занял место на небольшом возвышении за полированным столом из горной сосны. За его

спиной висел впечатляющий портрет королевы Вильгельмины. После того как были решены полдюжины дел, доставили Рыжего Теда в наручниках и поместили перед скамьей подсудимых. Двое стражников остались стоять по бокам. Наместник посмотрел на него строго, однако не мог скрыть озорства во взгляде.

Рыжий Тед страдал от похмелья. Он заметно покачивался, уставившись перед собой пустым взглядом. Это был еще молодой мужчина, лет тридцати, чуть выше среднего роста, полноватый, с одутловатым красным лицом и копной вьющихся рыжих волос. Схватка не прошла бесследно и для него: один глаз заплыл синяком, разбитые губы опухли. На нем были шорты защитного цвета, очень грязные и обтрепанные, а майка, разорванная сзади, едва держалась на плечах. Сквозь огромную прореху спереди виднелась густая поросль таких же рыжих волос на груди, покрывавшая удивительно белую кожу. Наместник заглянул в список предъявляемых Теду обвинений и приступил к опросу свидетелей. Выслушав китайца, продемонстрировавшего собственную голову, которую Рыжий Тед раскроил бутылкой, а также взволнованный рассказ сержанта, которого обвиняемый сбил с ног, когда

тот попытался задержать его, ознакомившись с тем, какой разгром учинил подсудимый, в пьяном кураже крушивший все, что попадалось под руку, наместник обратился к нему по-английски:

— Итак, Рыжий, что ты можешь сказать в свое оправдание?

— Я был пьян вусмерть. Ничего не помню. Раз они говорят, что я чуть его не прибил, значит, так оно и было. Я возмещу все убытки, дайте только срок.

— Убытки-то ты возместишь, Рыжий, — сказал наместник, — а вот срок определю тебе я.

С минуту он молча смотрел на Рыжего Теда. Объект, прямо скажем, выглядел малопривлекательно — совсем пропащий человек. Вид его был ужасен. На него нельзя было смотреть без содрогания, и если бы мистер Джонс не вмешался не в свое дело, наместник наверняка приказал бы депортировать подсудимого.

— Рыжий, с первого момента твоего появления здесь от тебя — одни неприятности. Ты — наш позор. Неисправимый бездельник. Тебя без конца подбирают на улице в стельку пьяным. Ты устраиваешь дебош за дебошем. Ты безнадежен. Когда ты стоял на этом месте в последний раз, я предупреждал: если тебя арестуют снова, я обойдусь с

тобой по всей строгости. На сей раз ты перешел все границы и поплатишься за это. Приговариваю тебя к шести месяцам исправительных работ.

— Меня?

— Тебя.

— Господи помилуй, да я убью вас, когда освобожусь.

Тед разразился потоком грязных ругательств и богохульств. Мистер Грюйтер слушал его презрительно: английские ругательства голландским и в подметки не годились, любое выражение Рыжего Теда он мог запросто переплюнуть.

— Замолчи, — приказал он наконец. — Ты меня утомил.

Наместник повторил приговор по-малайски, и брыкающегося осужденного увели.

Ко второму завтраку мистер Грюйтер приступил в прекрасном расположении духа. Поразительно, сколь увлекательной может быть жизнь — стоит лишь приложить чуточку изобретательности. В Амстердаме и даже в Батавии и Сурабайе есть люди, которые считают его пребывание на островах едва ли не ссылкой. Им не понять, насколько оно приятно и какое удовольствие можно извлечь из казалось бы столь малообещающего материала. Его обычно спрашивали, не скучает

ли он по клубу, по скачкам, кинематографу и танцам, которые каждую неделю устраивались в казино, по обществу голландских дам. Да ничуть. Он любил комфорт. Прочная мебель в комнате, где он сидел, удовлетворяла его своей надежностью. Ему нравились французские романы фривольного содержания, и он глотал их один за другим, нисколько не терзаясь угрызениями совести за то, что попусту теряет время. Напротив, пустую трату времени он считал приятнейшей роскошью. А когда свойственные молодости фантазии уносили его в мир любовных грез, старший бой приводил в дом маленькую ясноглазую смуглянку в саронге. Наместник тщательно избегал сколько-нибудь постоянных привязанностей, считая, что разнообразие поддерживает молодость души. Он упивался свободой и не обременял себя чувством ответственности. Жару он переносил легко. Холодные обливания раз по десять на дню доставляли ему почти эстетическое наслаждение. Он играл на рояле, переписывался с друзьями в Голландии и не испытывал ни малейшей потребности в интеллектуальных беседах. Он обожал посмеяться, но умел извлечь не меньше смешного из общения с дураком, чем из общения с профессором философии, и считал

себя большим хитрецом.

Как всякий добропорядочный голландец на Дальнем Востоке, обед он начинал со стаканчика голландского джина. Запах у этого напитка был резкий и кисловатый, на любителя, но мистер Грюйтер предпочитал его любому коктейлю. А кроме того, потягивая голландский джин, он сознавал, что поддерживает национальные традиции. После этого ему подавали ристаффел[5], который он ел каждый день. Доверху наполнив глубокую тарелку рисом, он накладывал сверху карри из блюда, которое держал один бой, жареные яйца, которые подавал второй, и всевозможные специи, которые подносил третий. Потом все трое подавали смену: бекон, бананы, соленую рыбу — пока на тарелке не образовывалась высокая пирамида. Тогда он все это тщательно перемешивал и принимался за еду. Ел медленно, со вкусом, запивая блюдо пивом.

Пока ел, он ни о чем не думал. Все внимание было целиком отдано месиву, стоявшему перед ним, и он поглощал его с радостной сосредоточенностью. Оно ему никогда не приедалось, и, опустошив гигантскую тарелку, он с удоволь-

---

[5] Примечания: 5

Традиционное индонезийско-голландское блюдо из риса со множеством наполнителей.

ствием думал о том, что завтра ристаффел будет ждать его снова. Это блюдо так же мало надоедало ему, как всем нам — хлеб.

Допив пиво, наместник закурил сигару, и бой принес ему чашку кофе. Только теперь, откинувшись на спинку кресла, мистер Грюйтер позволил себе роскошь поразмышлять.

Его забавляло то, что он приговорил Рыжего Теда к наказанию, которое тот вполне заслужил, — к шести месяцам тяжелых работ, и он не сдержал улыбки, представив себе, как тот вкалывает вместе с другими заключенными на ремонте дороги. Было бы глупо выслать с острова единственного человека, с которым он хоть изредка мог поговорить по душам, а кроме того, потакание миссионеру могло отрицательно сказаться на характере этого джентльмена. Рыжий Тед был бездельником и прохвостом, но наместник испытывал к нему слабость. Не одну бутылку пива распили они вдвоем, а когда на остров заглядывали ловцы жемчуга из порта Дарвин и попойка устраивалась на всю ночь, они надирались вместе на славу. Наместнику импонировала бесшабашность, с которой Рыжий Тед проматывал бесценное сокровище жизни.

Рыжего Теда когда-то забросило на остров

случайно. Он плыл на корабле, следовавшем из Мерауке в Макассар. Капитан знать не знал, откуда он взялся, — просто каким-то образом очутился среди туземцев — пассажиров четвертого класса и остался на Аласских островах, потому что ему приглянулись здешние места. Мистер Грюйтер подозревал, что их привлекательность для него состояла в том, что они находились под голландским флагом, а следовательно, были недосягаемы для британского правосудия. Но документы у него были в порядке, так что не существовало никаких резонов запретить ему здесь остаться. Рыжий Тед заявил, что скупает перламутровые раковины для одной австралийской фирмы, но вскоре стало очевидно, что его коммерческую деятельность всерьез принимать нельзя. Пьянство отнимало у него столько времени, что для других занятий его почти не оставалось. Регулярно, раз в месяц ему из Англии перечислялась сумма из расчета два фунта в неделю. Наместник догадывался, что деньги ему платят только за то, чтобы он держался подальше от тех, кто их дает. Во всяком случае, этих денег было недостаточно, чтобы позволить ему свободу передвижения. Рыжий Тед был скрытен. Наместнику удалось выяснить лишь, что он англичанин — это следовало из его паспорта, что

зовут его Эдвард Уилсон и что до того он жил в Австралии. Но почему он покинул Англию и чем занимался в Австралии, мистер Грюйтер понятия не имел. Равным образом он никогда не мог определить, к какому классу общества принадлежал Рыжий Тед. Наблюдая его среди ловцов жемчуга, в грязной майке, обтрепанных брюках и видавшем виды тропическом шлеме, слыша его речь — грубую, непристойную и безграмотную, можно было подумать, что он простой матрос, сбежавший с корабля, или разнорабочий, но, увидев его почерк, вы бы с изумлением обнаружили, что это рука человека, отнюдь не совсем необразованного, а порой, если выпадала удача застать его в одиночестве, когда он, конечно, уже принял на грудь, однако еще не напился в стельку, он мог рассуждать о материях, ни простому матросу, ни рабочему и во сне не снившихся.

Наместник не был лишен тонкости восприятия и видел, что Рыжий Тед разговаривает с ним не как низший с вышестоящим, но на равных. Большую часть своего денежного довольства он проматывал раньше, чем успевал его получить, а когда он получал его, китайцы, у которых он брал взаймы, стояли у него за спиной, чтобы тут же стребовать долг, но то, что оставалось,

Тед немедленно спускал на выпивку. И вот тогда-то начинались неприятности, потому что, напившись, он становился буйным и зачастую совершал поступки, которые приводили его прямиком в объятия полиции. Прежде мистер Грюйтер ограничивался тем, что держал его в камере, пока не протрезвеет, и делал внушение. Оставаясь на мели, Рыжий Тед выклянчивал у кого угодно что угодно — лишь бы это можно было выпить: ром, бренди, арак — ему было все равно. Раза два или три мистер Грюйтер посылал его на другие острова — работать на плантациях, принадлежавших китайцам, но он нигде не приживался и через несколько недель уже снова болтался на пляже острова Бару. Оставалось лишь диву даваться, как он умудрялся не отдать Богу душу. Без сомнения, он умел найти подход к людям. Ему легко давались местные диалекты, и он умел рассмешить туземцев. Они его ни во что не ставили, но уважали его физическую силу и любили водить с ним компанию. В результате он никогда не оставался без еды и скромного ночлега. Самое удивительное — и это больше всего бесило преподобного Оуэна Джонса, — что он мог любую женщину заставить есть у него с руки. Наместник представить себе не мог, что они в нем

находили. Рыжий Тед не относился к ним всерьез и порой бывал весьма груб. Брал от них все, что они могли ему дать, но не был способен на благодарность. Пользовался ими в свое удовольствие, после чего равнодушно бросал. Раз или два это чуть не доводило его до беды, как-то мистер Грюйтер был вынужден осудить разгневанного отца, который ночью всадил нож в спину Рыжему Теду, а одна китаянка пыталась отравиться опиумом, когда он покинул ее. Однажды мистер Джонс явился к наместнику в большом возбуждении: этот бродяга соблазнил одну из его новообращенных. Наместник согласился, что факт весьма прискорбен, однако лишь посоветовал мистеру Джонсу строже приглядывать за своими юными подопечными. Гораздо меньше понравилось наместнику, когда выяснилось, что девушка, к которой он сам неровно дышал и которая уже несколько недель являлась его возлюбленной, одновременно дарила своей благосклонностью и Рыжего Теда. Припомнив этот неприятный инцидент, наместник улыбнулся от сознания того, что Рыжий Тед полгода будет корячиться на тяжелой работе. В этой жизни редко случается, исполняя свой прямой долг, отомстить человеку, который сыграл с тобой злую шутку.

Спустя несколько дней мистер Грюйтер предпринял прогулку — отчасти просто ради разминки, отчасти для того, чтобы убедиться, что работа, которую он распорядился выполнить, продвигается должным образом — и наткнулся на группу арестантов, трудившихся под присмотром надзирателя. Среди них он заметил Рыжего Теда. Тот был в тюремном саронге, выцветшей тунике, которая по-малайски называется баджу, и собственном видавшем виды тропическом шлеме. Заключенные ремонтировали дорогу, и в руках Рыжего Теда в этот момент находилось тяжеленное кайло. Дорога была узкой, наместник понимал, что придется пройти всего лишь в каком-то футе от Теда, и вспомнил его угрозу. Он знал, что Рыжий Тед — человек буйных страстей, а произнесенные им в зале суда слова не оставляли сомнений в том, что приговор, вынесенный ему наместником и обрекший его на полгода принудительных работ, отнюдь не показался ему удачной шуткой. Если Рыжему Теду придет в голову напасть на него с кайлом, ничто на свете не сможет его спасти. Конечно, надзиратель пристрелит его на месте, но прежде голова наместника окажется проломленной. Проходя сквозь группу заключенных, мистер Грюйтер

ощутил, как противно заныло под ложечкой. Арестанты работали парами на расстоянии нескольких футов друг от друга. Он собрал все свое мужество, чтобы не ускорить и не замедлить шага. Когда он поравнялся с Рыжим Тедом, тот, опершись на кайло, посмотрел на наместника и, поймав его взгляд, подмигнул. Мистер Грюйтер едва сдержал улыбку, которая была готова заиграть на его губах, и с церемонным достоинством прошествовал мимо. Но это подмигивание, столь явно исполненное озорства, доставило ему немалое удовольствие. Будь он багдадским халифом, а не мелким чиновником на государственной службе, он бы немедленно приказал освободить Рыжего Теда и велел бы рабам омыть и умаслить его благовониями, облачить в златотканые одежды и потчевать великолепными кушаньями.

Рыжий Тед оказался образцовым заключенным, и спустя месяц или два наместник, отправляя людей для выполнения некой работы на дальние острова, включил в эту группу и его. Тюрьмы там не было, так что десятерых человек, которых он туда послал под присмотром надзирателя, разместили в домах местных жителей, и по окончании рабочего дня они были предоставлены самим себе, как свободные люди. Работы было

предостаточно, чтобы Рыжий Тед отбыл там свой срок до конца. Перед отправкой наместник имел с ним беседу.

— Слушай, Рыжий, — сказал он, — вот тебе десять гульденов, сможешь купить табак, когда он у тебя кончится.

— А не могли бы вы дать чуть побольше? Мне ведь каждый месяц приходит восемь фунтов.

— Хватит с тебя. Переводы, которые будут приходить на твое имя, я сохраню, когда вернешься, накопится кругленькая сумма. У тебя будет достаточно денег, чтобы уехать куда пожелаешь.

— Мне и здесь хорошо, — сказал Рыжий Тед.

— Твое дело. Когда вернешься, приведи себя в порядок и приходи ко мне домой. Разопьем бутылочку пива.

— Это будет здорово. Думаю, к тому времени я соскучусь по хорошему собеседнику.

И здесь в дело вступает Его Величество Случай. Остров, на который отправили Рыжего Теда, назывался Мапутити. Как и все остальные, он был скалистым, поросшим густыми лесами и окруженным рифами. Среди кокосовых пальм на берегу, напротив разрыва в кольце рифов, располагалась деревня, другая находилась в центре острова, у озера с солоноватой водой.

Часть ее населения составляли новообращенные христиане. Связь с Бару осуществлялась с помощью катера, который курсировал весьма нерегулярно, заходя по пути на разные острова и доставляя пассажиров и провиант. Но местные жители были прирожденными мореходами и, если возникала неотложная необходимость попасть на Бару, снаряжали туземную лодку прау и на ней проходили пятьдесят или около того миль, отделяющих от него их остров. Так случилось, что за две недели до истечения срока наказания Рыжего Теда внезапно заболел христианин, старейшина деревни на озере. Местные средства не приносили облегчения, он корчился от боли. За помощью к миссионеру на остров Бару отправились посланцы; но по несчастливому стечению обстоятельств именно в тот момент сам мистер Джонс страдал от приступа малярии. Он лежал пластом, не в состоянии двигаться. Они с сестрой обсудили ситуацию.

— Похоже на острый приступ аппендицита, — предположил мистер Джонс.

— Но тебе никак нельзя ехать, Оуэн, — сказала сестра.

— Я не могу допустить, чтобы человек умер.

У мистера Джонса была температура под сорок

и от боли разламывалась голова. Всю ночь он бредил. Его глаза лихорадочно блестели, и сестра чувствовала, что он только усилием слабеющей воли цепляется за остатки сознания.

— Все равно ты не сможешь оперировать в таком состоянии.

— Ты права. Тогда пусть едет Хассан.

Хассан был его провизором.

— На Хассана рассчитывать нельзя. Он никогда не отважится оперировать под свою ответственность. Да они ему и не позволят. Поеду я. А Хассан пусть останется здесь и присмотрит за тобой.

— Думаешь, ты сможешь удалить аппендикс?

— А что тут такого? Я же видела, как ты это делаешь. И сама провела кучу мелких операций.

Мистер Джонс смутно отдавал себе отчет в том, что не совсем понимает, что ему говорят.

— А катер здесь?

— Нет, ушел на какой-то остров. Но я доберусь на прау вместе с людьми, которые приехали за тобой.

— Ты? Нет, я не о тебе… Ты не можешь ехать.

— Я поеду, Оуэн.

— Поедешь? Куда?

Мисс Джонс поняла, что у брата мутится сознание и, чтобы успокоить, положила ладонь

на его сухой горячий лоб. Потом дала лекарство. Он пробормотал что-то, из чего стало ясно, что он не осознает, где находится. Она, конечно же, тревожилась о нем, но знала, что его болезнь не смертельна и она может спокойно оставить его на попечение боя, служившего при миссии и помогавшего ей выхаживать брата, а также на провизора-аборигена. Мисс Джонс выскользнула из комнаты, быстро собрала умывальные вещи, положила в сумку ночную рубашку и смену белья. Маленький чемоданчик с хирургическими инструментами, перевязочными материалами и антисептическими средствами всегда стоял наготове. Передав сумку и чемоданчик двум туземцам, прибывшим с Мапутити, она сообщила провизору, куда направляется, и велела ему передать это брату, когда тот придет в себя, а самое главное — убедить его не волноваться за нее, после чего надела шлем и отбыла. Миссия, как уже было сказано, находилась в полумиле от деревни, этот путь она преодолела быстро. У оконечности пирса ждала лодка с шестью гребцами. Мисс Джонс заняла место на корме, гребцы быстро и слаженно заработали веслами. Внутри кольца рифов море было спокойным, но как только они вышли за рифы, поднялась высокая волна.

Однако мисс Джонс не впервой было совершать подобные путешествия, и она ничуть не сомневалась в мореходных качествах судна, на котором плыла. Был полдень, знойные солнечные лучи безжалостно палили с раскаленного неба. Единственное, что страшило ее, так это мысль о том, что они не успеют прибыть на место до наступления темноты и, если окажется, что оперировать надо немедленно, придется рассчитывать только на свет сигнальных фонарей.

Мисс Джонс приближалась к сорока годам, и ничто в ее облике не выдавало той решимости, какую она в данном случае продемонстрировала. Была в ней некая странная на первый взгляд, ленивая, пожалуй, даже претенциозная грация, наводящая на мысль, что ее легко сдуть ветром, и от этого недюжинная сила характера, которую она внезапно являла, казалась едва ли не устрашающей. Мисс Джонс была плоскогрудой, высокой и чрезвычайно худой, лицо имела вытянутое, бледное и была предрасположена к тропической потнице. Свои жидкие каштановые волосы строго зачесывала назад. Из-за того что ее небольшие серые глаза были довольно близко посажены, выражение лица казалось чуточку сварливым. Длинный тонкий нос имел обык-

новение часто краснеть. Она нередко страдала несварением желудка. Но все эти несовершенства ничего не значили в сравнении с ее неугомонной решимостью видеть во всем только хорошее. Несокрушимо убежденная в том, что мир порочен, а все мужчины развратники, она отмечала малейшее проявление порядочности, которое находила в них, со сдержанной гордостью фокусника, извлекающего кролика из шляпы. Она была ловка, находчива и компетентна. Прибыв на остров, мисс Джонс сразу поняла, что нельзя терять ни минуты, если она хочет спасти жизнь старейшины. Не без труда научив одного из аборигенов давать наркоз, она провела операцию и в течение следующих трех дней с ревностным усердием выхаживала больного. Все прошло отлично, она могла поздравить себя с тем, что и сам брат не смог бы справиться лучше. Не торопя событий, она в положенный срок сняла швы и только после этого сочла возможным вернуться домой. У нее были все основания гордиться тем, что она не потеряла времени даром: оказала медицинскую помощь всем, кто в ней нуждался, укрепила в вере немногочисленную местную христианскую общину, наставила на путь истинный тех, кто был слаб духом, и посеяла добрые

семена там, где, с Божьей помощью, они имели шанс пустить корни.

Катер прибыл с одного из соседних островов с задержкой, только во второй половине дня, но поскольку был период полнолуния, они надеялись достичь Бару до полуночи. Ее вещи отнесли на причал. Собравшиеся, чтобы проводить ее, местные жители изливались в благодарностях. Катер был гружен мешками с копрой, но мисс Джонс, привычной к ее резкому запаху, это не доставляло никакого беспокойства. Она нашла себе удобное — насколько то было возможно — местечко и в ожидании отправления катера беседовала с благодарными провожающими. Внезапно из леса, окружавшего прибрежную деревню, появилась группа туземцев, среди которых она заметила одного белого с длинными рыжими волосами. На нем были тюремный саронг и баджу. Мисс Джонс сразу узнала Рыжего Теда. Группу сопровождал полицейский. Рыжий Тед обменялся рукопожатиями с ним и со своими туземными спутниками, которые погрузили на борт принесенные ими связки фруктов и кувшин, наверняка, по догадке мисс Джонс, наполненный местным самогоном. К своему великому изумлению, она обнаружила, что Рыжий Тед плывет вместе с ней. Срок его

наказания истек, и было получено распоряжение отправить его с этим катером обратно на Бару. Он мельком взглянул на нее, не кивнув — впрочем, мисс Джонс в этот момент демонстративно отвернулась, — и взошел на борт. Моторист завел двигатель, и уже в следующий момент они, маневрируя, устремились через лагуну. Рыжий Тед взобрался на кучу мешков и закурил сигарету.

Мисс Джонс всем своим видом показывала, что игнорирует его. Неудивительно: слишком уж хорошо она его знала. У нее сердце сжалось при мысли, что теперь он снова окажется на Бару, примется, как прежде, пить, дебоширить, совращать женщин и опять сделается источником постоянных неприятностей для всех добропорядочных людей. Она была в курсе тех шагов, которые предпринял ее брат, чтобы Рыжего Теда выдворили с острова, и негодовала на наместника, не пожелавшего выполнить свой столь очевидный в данном случае долг. Когда они миновали рифы и вышли в открытое море, Рыжий Тед откупорил кувшин с араком, приложился к горлышку и сделал большой глоток, потом передал кувшин двум мотористам, составлявшим команду катера. Один из них был мужчиной средних лет, другой — юнец.

— Я не хотела бы, чтобы вы пили в пути, — строго сказала мисс Джонс старшему.

Тот улыбнулся и, отпив из кувшина, ответил:

— Немного арака еще никому не повредило, — после чего протянул кувшин напарнику. Тот тоже выпил.

— Если вы будете продолжать, я пожалуюсь наместнику, — пригрозила мисс Джонс.

Старший моторист что-то сказал — слов она не разобрала, но догадалась, что это была грубость, — и вернул кувшин Рыжему Теду. Прошло около часа, может, больше. Море было гладким, как стеклышко, заходящее солнце отбрасывало на его поверхность сияющие лучи, потом оно опустилось за один из островов, на несколько минут превратив его в мистический небесный град. Мисс Джонс обернулась, чтобы полюбоваться, и сердце ее исполнилось благодарности за красоту земную.

— «И только человек греховен»[6], — мысленно процитировала она.

Они плыли строго на восток. Вдали показался

---

[6] Примечания: 6

Стих из гимна «Богоявление» Реджиналда Хебера (1783–1826), английского священнослужителя и поэта, в 1823 году ставшего епископом Калькуттским. Им написано несколько томов стихов и проповедей, но более всего он был известен как автор популярных церковных гимнов.

маленький остров, вблизи которого, как знала мисс Джонс, им предстояло пройти. Он был необитаем. Скалистый лоскуток суши, густо поросший девственным лесом. Моторист зажег сигнальные огни. Южная ночь опустилась, как водится, в один миг, и небо сплошь обсыпалось звездами. Луна еще не взошла. Внезапно послышалось какое-то щелканье, и катер странно завибрировал. Мотор начал тарахтеть. Старший механик, велев напарнику встать у штурвала, полез в машинное отделение. Ход катера сильно замедлился, потом мотор и вовсе заглох. Мисс Джонс спросила молодого моториста, в чем дело, но он не знал. Рыжий Тед слез с кучи мешков и тоже нырнул в машинное отделение. Когда он снова появился на палубе, ей очень хотелось с тем же вопросом обратиться к нему, но гордость не позволила. Она сидела неподвижно, стараясь думать о своем. Раздался нарастающий рев, и катер медленно тронулся. Моторист вылез на поверхность и снова запустил мотор. Хоть тот трещал как сумасшедший, они двинулись вперед. Но плыли они чрезвычайно медленно, причем катер трясло от носа до кормы. С ним явно что-то было не в порядке, однако мисс Джонс была не столько встревожена, сколько сердита. Судно

должно было делать шесть узлов, но вместо этого ползло как улитка, при такой скорости они могли достичь Бару лишь далеко-далеко за полночь. Моторист, копавшийся в моторе, что-то прокричал напарнику, стоявшему за штурвалом. Разговаривали они на языке баджи, который мисс Джонс понимала с трудом. Но некоторое время спустя она заметила, что они сменили курс и, судя по всему, направляются к крохотному необитаемому острову, который им полагалось обойти с подветренной стороны на значительном расстоянии.

— Куда мы плывем? — с внезапно охватившим ее дурным предчувствием спросила мисс Джонс рулевого.

Тот указал на островок. Она вскочила, подошла к машинному отделению и крикнула старшему мотористу, чтобы он вылез на поверхность.

— Вы плывете не туда! Почему? Что случилось?

— До Бару я не дотяну, — ответил он.

— Но вы должны! Я требую! Я приказываю вам плыть на Бару.

Мужчина лишь пожал плечами, повернулся к ней спиной и снова забрался в машинное отделение. Тогда заговорил Рыжий Тед:

— У винта одна лопасть сломалась. Он надеется доплыть до этого острова, там придется заночевать, а утром, во время отлива, он поставит новый винт.

— Я не могу ночевать на необитаемом острове с тремя мужчинами, — выкрикнула мисс Джонс.

— Многие женщины сочли бы это удачей.

— Я требую плыть на Бару. Что бы там ни было, мы должны добраться туда сегодня ночью.

— Не трепыхайтесь, старушка. У нас нет выхода: нужно пристать к берегу, чтобы сменить винт, а на острове все будет в порядке.

— Как вы смеете так со мной разговаривать! Вы грубиян!

— Да ничего с вами не случится. Жратвы у нас вдоволь, перекусим, когда сойдем на берег, вы глотнете арака, кровь у вас взыграет.

— Вы наглец! Если мы сейчас же не повернем к Бару, я позабочусь о том, чтобы вас всех посадили в тюрьму.

— Мы не повернем к Бару. Не можем. Мы пристанем к этому острову, а если вам это не нравится, можете прыгать в воду и добираться вплавь.

— Ну, вы за это заплатите!

— Заткнись, старая корова, — беззлобно сказал

Рыжий Тед.

Мисс Джонс задохнулась от гнева, но сдержалась. Даже здесь, посреди океана, она была слишком исполнена достоинства, чтобы вступать в пререкания с гнусным негодяем. Катер, чудовищно тарахтя, полз вперед. Стояла непроглядная темень, и мисс Джонс больше не различала острова, к которому они направлялись. Кипя от ярости, она сидела, плотно сжав губы и нахмурившись: она не привыкла, чтобы ей перечили. Потом взошла луна, и в ее свете мисс Джонс увидела очертания Рыжего Теда, снова развалившегося на куче мешков с копрой. Кончик его сигареты мерцал зловеще. Теперь абрис острова смутно вырисовывался на фоне неба. Наконец они достигли его, и моторист направил катер носом прямо на сушу. Внезапно мисс Джонс охнула: до нее дошел весь ужас происходящего, и гнев сменился страхом. Ее сердце бешено колотилось, она дрожала всем телом, чудовищная слабость охватила ее. Она все поняла. Была ли поломка винта случайной или это было специально подстроено? С уверенностью она не могла ответить на этот вопрос, но не сомневалась, что Рыжий Тед в любом случае воспользуется представившимся шансом. Он ее изнасилует. Слишком хорошо она его знала.

Он был помешан на женщинах. Ведь фактически именно так он поступил с той девушкой из миссии, прелестным существом и превосходной белошвейкой; они с братом, конечно, привлекли бы его к суду и засадили в тюрьму на много лет, если бы, к несчастью, невинное дитя само постоянно не возвращалось к нему, пожаловалась же девушка только тогда, когда он бросил ее ради другой. Они тогда ходили к наместнику, но он отказался что-либо предпринимать, сославшись — в своей обычной грубой манере — на то, что, даже если версия девушки правдива, непохоже, чтобы полученный опыт был ей так уж неприятен. Рыжий Тед был мерзавцем. И хоть она была белой женщиной, кто бы поручился за то, что он ее пощадит? Никто. Она знала мужчин. Однако нужно собраться и не терять трезвости ума. Следует вооружиться мужеством. Мисс Джонс была решительно настроена дорого продать свою добродетель, а если он убьет ее, — что ж, лучше умереть, чем уступить ему. Тем более что, умерев, она будет покоиться в объятиях Иисуса. На миг неземной свет ослепил ее, и она мысленным взором увидела чертог Отца своего Небесного. Он представился ей величественным и роскошным симбиозом кинотеатра и железнодорожного

вокзала. Мотористы и Рыжий Тед спрыгнули с катера и, стоя по пояс в воде, колдовали вокруг сломанного винта. Мисс Джонс воспользовалась тем, что все их внимание сосредоточилось на винте, выхватила из-под сиденья хирургический чемоданчик и, достав из него четыре скальпеля, спрятала в одежде, рассовав по разным местам. Пусть только Рыжий Тед сунется к ней — она всадит скальпель ему в сердце, ни на минуту не задумавшись.

— Ну, мисс, вы что, не собираетесь выходить? — спросил Рыжий Тед. — На берегу лучше, чем в катере.

Она тоже так думала. Там по крайней мере ей будет обеспечена свобода действий. Без единого слова она перебралась через мешки с копрой. Он протянул ей руку.

— Я не нуждаюсь в вашей помощи, — холодно сказала она.

— Ну и идите к черту, — ответил он.

Выбраться из катера, ничуть не обнажив ног, было затруднительно, но благодаря своей недюжинной сообразительности она сумела это сделать.

— Хорошо еще, черт подери, что у нас жратва есть. Сейчас разведем огонь. Вам нужно переку-

сить и вздремнуть немного.

— Я ничего не хочу — только чтобы меня оставили в покое.

— Хотите остаться голодной — дело ваше, мне все равно.

Ничего не ответив, она стала удаляться от них вдоль берега, гордо подняв голову. В кулаке она сжимала самый большой скальпель. Благодаря полнолунию мисс Джонс, слава Богу, могла видеть, куда идет. Она искала, где бы спрятаться. Густой лес подступал к самому пляжу, но, страшась его темноты (в конце концов, она — всего лишь женщина), она не рискнула углубиться в чащу. Неизвестно, что за звери рыскают там и какие водятся опасные змеи. Помимо этого инстинкт подсказывал, что лучше держать опасную троицу в поле зрения: если они станут к ней приближаться, она успеет приготовиться. Вскоре отыскалось небольшое углубление в земле. Мисс Джонс оглянулась. Похоже, мужчины были поглощены собственными делами и не смотрели на нее. Она нырнула в ямку. Между нею и ими находилась скала, благодаря которой она могла наблюдать за ними, оставаясь незамеченной. Мужчины сделали несколько рейсов, перенося вещи с катера на сушу. Потом разожгли костер.

В отсветах его пламени мисс Джонс видела, как они ели, сидя вокруг огня, и передавали по кругу кувшин с араком. Скоро они опьянеют, и что тогда станется с нею? Положим, с одним Рыжим Тедом она еще могла бы как-нибудь договориться, хотя его физическая сила пугала ее, но против троих ей не устоять. Ей в голову пришла безумная идея: подойти к Рыжему Теду, пасть перед ним на колени и умолять его пощадить ее. Должна же в нем остаться хоть искорка благопристойности, мисс Джонс никогда не теряла веры в то, что даже в худшем из мужчин имеется что-то хорошее. Наверняка у него есть мать, вероятно, сестра. Да нет, что толку взывать к человеку, ослепленному похотью и пьяному? Она почувствовала страшную слабость. Ее одолевал страх, она готова была расплакаться. Но этому не бывать. Нужно собрать все свое самообладание. Она кусала губы. Она следила за ними, словно тигр за добычей, нет, не так — скорее как овечка, видящая перед собой трех голодных волков. Они подложили дров в огонь, и силуэт Рыжего Теда в саронге четче вырисовался на фоне взметнувшегося пламени. Возможно, удовлетворив собственное желание, он отдаст ее двум остальным. Если такое с ней случится, как она сможет вернуться к брату? Конечно, он

посочувствует ей, но сможет ли он впредь когда-нибудь испытывать к ней те же чувства, что и прежде? Это разобьет ему сердце. К тому же, не исключено, он может счесть, что она недостаточно твердо сопротивлялась. Ради его спокойствия, быть может, лучше ничего ему не говорить. Сами мужчины, разумеется, будут молчать — для них ведь это означает двадцать лет тюрьмы. А предположим, что родится ребенок! Мисс Джонс в ужасе инстинктивно сжала кулаки и чуть не порезалась скальпелем. Конечно, если она начнет сопротивляться, это их только разозлит.

— Что мне делать? — заплакала она. — Чем я это заслужила?

Упав на колени, она стала молить Господа спасти ее. Молилась долго и серьезно. Она напомнила Богу, что она девственница, и упомянула — на тот случай, если это выпало из Его божественной памяти, — как святой Павел ценил этот возвышенный женский статус. Потом снова выглянула из-за скалы. Трое мужчин сидели и курили у догорающего костра. Следовало ожидать, что теперь-то похотливые мысли Рыжего Теда обратятся к женщине, находящейся в его власти. Она едва подавила крик, когда он вдруг встал и пошел в ее сторону. Тело ее напряглось,

и, хоть сердце бешено колотилось, она твердо сжала в руке скальпель. Однако оказалось, что Рыжий Тед направлялся за другой надобностью. Мисс Джонс покраснела и отвернулась. Медленно прошагав мимо нее обратно, он снова уселся рядом с остальными и поднес к губам кувшин с араком. Мисс Джонс, скрючившись за скалой, напряженно следила за ними. Разговор у костра постепенно замирал, и в конце концов она скорее догадалась, чем увидела, что двое аборигенов, завернувшись в одеяла, улеглись спать. Ясно. Вот момент, которого ждал Рыжий Тед. Как только они заснут, он тихонько встанет и бесшумно, чтобы не разбудить их, прокрадется к ней. Интересно: он просто не желает делить ее с остальными или понимает, насколько подло его деяние, и не хочет, чтобы кто-нибудь о нем узнал? В конце концов, он — белый мужчина, а она — белая женщина, возможно, он не пал еще столь низко, чтобы допустить насилие над ней со стороны туземцев. Но его план, ставший для нее совершенно очевидным, подал ей идею: она будет кричать так громко, что перебудит мотористов. Ей припомнилось, что у старшего из них, хоть он и был одноглазым, лицо казалось добрым. Но Рыжий Тед не двигался. Она чувствовала

себя страшно усталой и начинала бояться, что ей недостанет сил противостоять ему. Слишком много пришлось ей пережить. Она на минуту закрыла глаза.

Когда она их открыла, уже давно рассвело. Должно быть, она провалилась в сон и, будучи измучена переживаниями, проспала довольно долго. Это сильно напугало ее. Она попыталась встать, но что-то держало ее ноги. Посмотрев вниз, она увидела, что укрыта двумя пустыми мешками из-под копры. Кто-то ночью пришел и укрыл ее. Рыжий Тед! Она тихонько вскрикнула. Чудовищная мысль пронеслась у нее в голове: неужели он надругался над нею, пока она спала?! Нет. Невозможно. Хотя она была в тот миг полностью в его власти. Беззащитная. Но он ее пощадил. Мисс Джонс густо залилась краской. Она встала, чувствуя, что тело немного затекло, и оправила смятое платье. Скальпель выпал из ее ладони, она подняла его. Прихватив мешки, она восстала из своего убежища и направилась к катеру. Тот тихо покачивался на мелководье лагуны.

— Идите сюда, мисс Джонс, — сказал Рыжий Тед. — Мы закончили. Я как раз собирался вас будить.

Она не могла поднять на него глаза, понимая,

что щеки у нее горят, как гребешок у индюка.

— Хотите банан? — предложил он.

Она без единого слова взяла банан, потому что была страшно голодна, и с удовольствием съела его.

— Вставайте на этот камень, тогда сможете перебраться на борт, не замочив ног.

Мисс Джонс готова была сквозь землю провалиться от стыда, но сделала так, как он велел. Он подал ей руку — Господь милосердный, рука у него была, как стальные тиски, никогда, никогда не смогла бы она справиться с ним — и помог взойти на палубу. Моторист завел двигатель, и они заскользили из лагуны. Три часа спустя они уже были на Бару.

В тот вечер, официально оказавшись на свободе, Рыжий Тед отправился в дом наместника. На нем снова была не тюремная одежда, а рваная майка и защитного цвета шорты, в которых его арестовали. Он постригся, и теперь у него на голове красовалось подобие мохнатой рыжей шапочки. Он похудел, начинавшая было обвисать кожа подтянулась, и выглядел он теперь моложе и привлекательней. Мистер Грюйтер с дружелюбной улыбкой на круглом лице пожал ему руку и пригласил садиться. Бой принес две

бутылки пива.

— Рад, что ты не забыл о моем приглашении, Рыжий, — сказал наместник.

— Еще бы. Я полгода мечтал о нем.

— Ну, удачи тебе, Рыжий Тед.

— И вам тоже, наместник.

Они осушили стаканы, и наместник хлопнул в ладоши. Бой принес еще две бутылки.

— Надеюсь, ты не держишь на меня зла за то, что я осудил тебя?

— Ничуть, можете не волноваться. Был момент, когда я разозлился, но это быстро прошло. Знаете, я не так уж плохо провел время. На том острове, наместник, чертова уйма девушек. Надо бы вам как-нибудь взглянуть на них.

— Ты неисправим, Рыжий.

— Совершенно.

— Хорошее пиво, правда?

— Отличное.

— Давай еще выпьем.

Денежные переводы Рыжему Теду приходили исправно, и у наместника скопилось для него пятьдесят фунтов. Даже после возмещения ущерба, нанесенного им китайской лавке, должно было остаться более тридцати.

— Это приличная сумма, Рыжий. Ты должен

распорядиться ею с умом.

— Так я и собираюсь сделать, — ответил Рыжий. — Я их истрачу.

Наместник вздохнул:

— Ну, деньги, по сути, для этого и существуют.

Наместник рассказал гостю о том, что случилось за шесть месяцев его отсутствия, — не так уж много. Время на Аласских островах особого значения не имело, а уж то, что происходило за их пределами, и подавно.

— Где-нибудь идут войны? — поинтересовался Рыжий Тед.

— Нет. Во всяком случае, мне о них неведомо. Харри Джервис нашел весьма крупную жемчужину. Говорит, что будет просить за нее тысячу соверенов.

— Надеюсь, он их получит.

— А Чарли Маккормак женился.

— Он всегда был простофилей.

Внезапно возникший в дверях бой объявил, что мистер Джонс спрашивает, можно ли ему войти. И прежде чем наместник успел что-либо ответить, мистер Джонс появился на пороге.

— Я не задержу вас надолго, — сказал он. — Я весь день пытался поймать этого доброго человека и, услышав, что он здесь, позволил себе прийти

без приглашения.

— Как поживает мисс Джонс? — вежливо осведомился наместник. — Надеюсь, ночь, проведенная под открытым небом, не причинила ей вреда?

— Она, конечно, немного переволновалась, у нее температура, и я настоял, чтобы она легла в постель, но, думаю, ничего серьезного.

При появлении миссионера мужчины встали и теперь продолжали стоять. Миссионер подошел к Рыжему Теду и протянул ему руку.

— Я хочу вас поблагодарить. Вы вели себя великодушно и благородно. Моя сестра права: всегда нужно видеть в ближнем прежде всего хорошее. Боюсь, я неправильно судил о вас прежде, прошу меня извинить.

Речь его была весьма торжественной. Рыжий Тед смотрел на него с изумлением. Он не мог не ответить на рукопожатие миссионера, и тот продолжал удерживать его руку.

— О чем, черт возьми, вы толкуете?

— Моя сестра была в вашей власти, но вы пощадили ее. Раньше мне казалось, что вы — воплощение зла, теперь мне стыдно за это. Она была беззащитна и полностью зависела от вашего милосердия. Вы сжалились над ней. Я благодарю вас

от всей души. Ни моя сестра, ни я никогда этого не забудем. Да благословит и хранит вас Бог.

Голос мистера Джонса слегка дрогнул, и он отвернулся, потом, отпустив руку Рыжего Теда, быстро зашагал к выходу. Рыжий Тед провожал его недоуменным взглядом.

— Какого хрена? Что он имел в виду?

Наместник рассмеялся. Он пытался сохранить серьезный вид, но чем больше пытался, тем сильнее разбирал его смех. Он сотрясался от хохота, и видно было, как складки его толстого живота ходят волнами под саронгом. Откинувшись в шезлонге, он раскачивался из стороны в сторону. Не только лицо его сводила гримаса смеха, тряслось все его тело, и даже короткие ляжки подпрыгивали от этого буйного веселья, он прижимал руки к уже болевшим от хохота ребрам. Рыжий Тед смотрел на него хмуро и, поскольку не мог понять смысла шутки, сердился все больше. В конце концов он схватил за горлышко пустую пивную бутылку.

— Если вы не прекратите ржать, я раскрою вашу чертову голову, — рявкнул он.

Наместник вытер слезы, отхлебнул большой глоток пива, вздохнул и застонал, потому что у него болели бока.

— Он благодарил тебя за то, что ты уважил добродетель мисс Джонс, — сквозь всхлипы произнес он наконец.

— Я?! — воскликнул Рыжий Тед.

Эта мысль довольно долго доходила до него, но когда наконец дошла, он страшно рассвирепел. Из него хлынул поток таких непристойностей, которые озадачили бы даже бывалых матросов.

— ...эту старую корову, — закончил он. — За кого он меня принимает?

— Но ведь у тебя репутация весьма горячего парня, если говорить о девушках, Рыжий, — захихикал коротышка-наместник.

— Да мне на нее и смотреть-то противно. Мне бы и в голову не пришло. Какое нахальство! Да я сверну ему его поганую шею! Слушайте, отдайте мне мои деньги, пойду напьюсь.

— Я тебя за это не осужу, — сказал наместник.

— Ах ты, старая корова, — без конца повторял Рыжий Тед. — Корова старая.

Он был шокирован и разгневан. Подобное предположение до самых основ потрясло его чувство приличия.

Деньги у наместника были приготовлены и, велев Рыжему Теду подписать нужные документы, он их ему вручил.

— Иди и напейся, Рыжий Тед, — сказал он, — но предупреждаю: если снова натворишь бед — будешь осужден на год.

— Не натворю, — мрачно заверил Рыжий Тед. Он страдал от нанесенной ему обиды. — Это оскорбление, вот что это такое! Оскорбление, черт возьми, — выкрикнул он и выскочил из дома, повторяя на ходу: «Грязная свинья, грязная свинья».

Рыжий Тед не просыхал целую неделю. Мистер Джонс опять отправился к наместнику.

— Я с прискорбием узнал, что бедолага снова предался пороку, — сказал он. — Мы с сестрой страшно разочарованы. Боюсь, было не слишком дальновидно давать ему сразу столько денег.

— Это его деньги. У меня нет никакого права удерживать что-либо из них.

— Законного права, может, и нет, но моральное — безусловно имеется.

Миссионер поведал наместнику историю той жуткой ночи на острове. Женская интуиция подсказала мисс Джонс, что мужчина, воспламененный похотью, был готов воспользоваться ее беззащитностью, и она, исполненная решимости защищать свою честь до конца, вооружилась скальпелем. Он описал наместнику, как она мо-

лилась и плакала, как пряталась. Страдания же ее были неописуемы, она знала, что никогда не сможет пережить позор. Ни на миг ее не оставляла мысль о том, что злодей вот-вот явится, а помощи ждать неоткуда, и наконец, обессилев, она заснула; бедняжка, ей пришлось пережить больше, чем способно выдержать человеческое существо. А потом, проснувшись, она обнаружила, что укрыта мешками из-под копры. Это он, увидев ее спящей и, конечно же, растроганный ее невинностью и полной беззащитностью, не смог совершить злодеяние; он осторожно укрыл ее двумя мешками и тихо уполз.

— Это свидетельствует о том, что в глубине даже его души таится некое благородство. Моя сестра считает, что наш долг — спасти его. Мы должны что-то для него сделать.

— На вашем месте я бы не предпринимал никаких попыток до тех пор, пока у него не выйдут все деньги, — посоветовал наместник. — Потом, если он к тому времени не угодит в тюрьму, делайте что хотите.

Но Рыжий Тед не желал, чтобы его спасали. Недели через две после своего освобождения он сидел на табурете у входа в китайскую лавку, рассеянно глядя на улицу, когда увидел прибли-

жающуюся мисс Джонс. С минуту он пялился на нее, и вдруг его снова охватило негодование. Он пробормотал что-то себе под нос — можно было не сомневаться, нечто малопочтительное — и, заметив, что мисс Джонс его увидела, быстро отвернулся, сознавая при этом, что она продолжает на него смотреть. Поначалу она шла быстро, но значительно замедлила шаг, подходя к нему. Он испугался, что она собирается заговорить с ним, поэтому поспешно встал, вошел в лавку и не решался выйти из нее по крайней мере минут пять. А спустя полчаса сам мистер Джонс проходил мимо и направился прямиком к Рыжему Теду, протягивая ему руку.

— Как поживаете, мистер Эдвард? Сестра сказала мне, что вы здесь.

Рыжий Тед угрюмо взглянул на него, не ответив на предложенное рукопожатие и ничего не сказав.

— Мы были бы чрезвычайно рады, если бы вы пожаловали к нам на ужин в следующее воскресенье. Моя сестра — отменная кулинарка, она приготовит для вас настоящий австралийский ужин.

— Идите к черту, — сказал Рыжий Тед.

— Это не очень любезно, — заметил миссионер,

но улыбнулся, давая понять, что не обиделся. — Вы же время от времени посещаете наместника, почему бы и к нам не прийти? Приятно иногда поболтать с белым человеком. Давайте забудем прошлое. Обещаю вам самое сердечное гостеприимство.

— У меня нет подходящей одежды для визитов, — мрачно сказал Рыжий Тед.

— О, об этом не беспокойтесь. Приходите как есть.

— Нет.

— Почему? Должна же быть причина.

Рыжий Тед был человеком прямолинейным. Он не колеблясь высказывал то, что всем нам порой хотелось бы высказать, когда мы получаем непрошеное приглашение.

— Потому что не хочу.

— Жаль. Моя сестра очень огорчится.

Решительно настроенный показать, будто нисколько не оскорблен, мистер Джонс беззаботно кивнул и пошел дальше. Двое суток спустя в дом, где квартировал Рыжий Тед, таинственным образом прибыл пакет, в котором были парусиновый костюм, тенниска, пара носков и туфли. Он не привык получать подарки и во время своей следующей встречи с наместником поинтересо-

вался, не тот ли прислал ему одежду.

— С какой стати, — ответил наместник. — Твой гардероб меня нисколько не занимает.

— Черт, тогда кого же он занимает?

— Понятия не имею.

Мисс Джонс по делам приходилось время от времени встречаться с наместником, и вскоре после того однажды утром она явилась к нему в канцелярию. Она была толковой женщиной и, хоть обычно просила его сделать то, что не вызывало восторга с его стороны, его временем никогда не злоупотребляла. Поэтому он был несколько удивлен тем, что в этот раз она пришла из-за пустяка. Когда он сказал ей, что данный вопрос выходит за рамки его компетенции, она не стала по обыкновению пытаться убедить его, а приняла отказ как окончательный и собралась уже было уходить, как вдруг, словно что-то припомнив, сказала:

— Да, мистер Грюйтер, мой брат очень хочет, чтобы человек, которого называют Рыжим Тедом, пришел к нам на ужин. Я написала ему записку с приглашением на послезавтра. Но, думаю, он будет чувствовать себя немного неловко, поэтому хотела спросить, не придете ли и вы вместе с ним?

— Это очень любезно с вашей стороны.

— Мой брат уверен, что мы должны что-то сделать для бедного парня.

— Благотворное женское влияние и все такое прочее, — с притворной серьезностью произнес наместник.

— Так вы уговорите его прийти? Уверена, он придет, если вы его попросите, а узнав дорогу, будет приходить еще. Обидно видеть, когда такой молодой человек губит себя.

Наместник окинул ее оценивающим взглядом. Она была на несколько дюймов выше него, и в целом он находил ее чрезвычайно непривлекательной. Странным образом она напоминала ему мокрую простыню, развешенную для просушки на бельевой веревке. Глаза у него заблестели, но он сохранял бесстрастное выражение лица.

— Сделаю все от меня зависящее, — пообещал он.

— Сколько ему лет? — спросила мисс Джонс.

— Согласно паспорту — тридцать один.

— А как его фамилия?

— Уилсон.

— Эдвард Уилсон, — едва ли не с нежностью произнесла она.

— Поразительно, как при таком образе жизни

он сохранил такую силу, — пробормотал наместник. — Он силен, как бык.

— Рыжеволосые мужчины бывают очень сильными, — произнесла мисс Джонс как-то сдавленно.

— Совершенно верно, — согласился наместник.

По какой-то неведомой причине мисс Джонс вдруг зарделась, поспешно распрощалась с наместником и удалилась.

— Godverdomme[7]! — воскликнул наместник.

Теперь он знал, кто послал Рыжему Теду новую одежду.

Встретившись с ним позже в тот же день, он спросил, получил ли он записку от мисс Джонс. Рыжий Тед достал из кармана смятый бумажный шарик и протянул ему. Это было то самое приглашение. В записке говорилось:

> *Уважаемый мистер Уилсон!*
>
> *Мой брат и я были бы очень рады, если бы Вы пришли к нам поужинать в следующий четверг в 19.30. Наместник тоже любезно согласился прийти. Мы получили*

---

[7] Примечания: 7
Черт возьми (*голландск.*).

из Австралии кое-какие новые пластинки, которые, я уверена, Вам понравятся. Боюсь, я была не слишком приветлива с Вами в нашу последнюю встречу, но тогда я еще не знала Вас так хорошо, тем не менее я достаточно взрослый человек, чтобы признать ошибку, если я ее совершила. Надеюсь, Вы простите меня и позволите мне считать себя Вашим другом.

Искренне Ваша, Марта Джонс.

Наместник отметил обращение — «Мистер Уилсон» — и то, что она упоминала о его, наместника, собственном обещании прийти, стало быть, сообщая ему, что уже написала записку Рыжему Теду, она несколько предвосхитила действительный ход событий.

— Что собираешься делать?

— Если вы об этом, то никуда я не пойду. Наглость какая.

— Но ты должен ответить на письмо.

— А я не отвечу.

— Послушай, Рыжий, надень-ка ты эту новую одежду и пойдем вместе, сделай мне такое одолжение. Мне-то, черт бы их побрал, идти все равно

придется, так не оставляй меня в беде. Всего один раз, тебя не убудет.

Рыжий Тед подозрительно посмотрел на наместника, но выражение лица у того было серьезным, а просьба звучала искренне, он и представить себе не мог, что в душе голландец клокочет от смеха.

— Какого дьявола я им понадобился?

— Не знаю. Наверное, просто жаждут приятной компании.

— А выпивка там будет?

— Нет, но ты приходи ко мне к семи, и мы пропустим по стаканчику, прежде чем идти в гости.

— Ну ладно, — угрюмо согласился Рыжий Тед.

Наместник радостно потирал свои маленькие толстые ручки в ожидании веселого развлечения. Однако в четверг в семь часов Рыжий Тед оказался мертвецки пьян, и мистеру Грюйтеру пришлось идти одному. Миссионеру и его сестре он просто сказал правду. Мистер Джонс покачал головой:

— Боюсь, ничего не выйдет, Марта, этот человек безнадежен.

С минуту мисс Джонс молчала, и наместник заметил, как По ее длинному тонкому носу скатились две слезинки. Она кусала губы.

— Никто не безнадежен. В каждом есть что-нибудь хорошее. Я буду каждый вечер молиться за него. Грешно сомневаться во всемогуществе Господа.

Возможно, в этом мисс Джонс была и права, но божественное провидение избрало весьма забавный способ доказать ее правоту. Рыжий Тед запил пуще прежнего. Он доставлял столько хлопот, что даже мистер Грюйтер потерял терпение и, придя к мысли, что нельзя больше оставлять этого парня на островах, решил выслать его на следующем же пароходе, который зайдет на Бару. Как раз в это время при странных обстоятельствах скончался мужчина, только что совершивший вояж на один из островов архипелага, и наместнику доложили, что ранее на этом острове уже умерло несколько человек. Он послал туда китайца, который официально числился местным врачом, чтобы разобраться в этом деле, и очень скоро получил от него донесение, в котором говорилось, что все смерти были вызваны холерой. Когда на Бару скончались еще два человека, мистер Грюйтер был вынужден признать, что речь идет об эпидемии.

Наместник дал волю раздражению. Он ругался по-голландски, по-английски и по-малайски.

Потом выпил бутылку пива и закурил сигару. И только после этого принялся мозговать. Он знал, что врач-китаец в такой ситуации бесполезен. Это был маленький нервный человечек с Явы, туземцы никогда не станут выполнять его распоряжения. Наместник, как человек, знающий свое дело, прекрасно понимал, что нужно делать, но без помощи обойтись не мог. Он не любил мистера Джонса, но в тот момент порадовался, что имел его под рукой, и сразу же послал за ним. Через десять минут мистер Джонс явился к нему в канцелярию в сопровождении сестры.

— Вы уже знаете, по какому поводу я вас пригласил, мистер Джонс, — сказал он деловым тоном.

— Да. Я ждал, что вы меня вызовете. Вот почему со мной моя сестра. Мы готовы предоставить в ваше распоряжение все свои ресурсы. Излишне говорить вам, что моя сестра не менее компетентна, чем любой мужчина.

— Я знаю и буду весьма признателен ей за помощь.

Без промедления они принялись обсуждать шаги, которые необходимо предпринять. Следовало поставить палаточный госпиталь и организовать карантинный пункт. Население островных деревень нужно было заставить соблюдать должные

меры профилактики. В большинстве случаев жители зараженных деревень брали питьевую воду из тех же источников, что и жители не зараженных, с этой трудностью придется справляться в каждом отдельном случае в зависимости от обстоятельств. Необходимо повсюду разослать людей с соответствующими распоряжениями и позаботиться о том, чтобы эти распоряжения строго выполнялись. За пренебрежение приказами следует безжалостно карать. Главная трудность состояла в том, что туземцы не станут повиноваться другим туземцам и приказы, отданные местными полицейскими, которые и сами не слишком уверены в их эффективности, несомненно, будут игнорироваться. Мистеру Джонсу было целесообразно оставаться на Бару, где самое многочисленное население и его медицинская помощь будет наиболее востребована. Что же касается самого наместника, то, поскольку он должен в силу своих обязанностей постоянно находиться на связи с вышестоящими властями, у него нет возможности лично инспектировать все другие острова. Это должна взять на себя мисс Джонс; однако население некоторых отдаленных островов дико и вероломно, наместник имел с ним массу неприятностей и не хотел подвергать

опасности мисс Джонс.

— Я не боюсь, — заявила она.

— Не сомневаюсь. Но если вам перережут глотку, ответственность буду нести я, а кроме того, у нас так мало людей, что я не хочу лишаться вашей помощи.

— Тогда пусть со мной едет мистер Уилсон. Он лучше всех знает туземцев и умеет говорить на их диалектах.

— Рыжий Тед? — Наместник недоуменно уставился на нее. — Да он только что с трудом вышел из белой горячки.

— Я знаю, — ответила она.

— Все-то вы знаете, мисс Джонс.

Несмотря на то, что ситуация была очень серьезной, мистер Грюйтер не смог удержаться от улыбки. Он проницательно посмотрел на нее, но она встретила его взгляд с холодностью.

— Ничто не выявляет в человеке его лучших качеств так, как чувство ответственности, и я полагаю, что нечто подобное может произойти с мистером Уилсоном.

— Ты считаешь благоразумным вверить себя на много дней человеку, имеющему столь дурную славу? — сказал миссионер.

— Я вверяю себя только Богу, — сурово ответила

мисс Джонс.

— Думаете, от него будет какая-то польза? — спросил наместник. — Вы ведь знаете, какой он.

— Я в этом уверена, — ответила она и покраснела. — В конце концов, никто лучше меня не знает, какое самообладание он способен проявить.

Наместник закусил губу, чтобы не рассмеяться.

— Ладно, давайте пошлем за ним.

Он вручил записку сержанту, и через несколько минут Рыжий Тед стоял перед ним. Он выглядел больным — видимо, недавний запой слишком сильно тряхнул его, и нервы у него ни к черту не годились. На нем были какие-то лохмотья, и не брился он не меньше недели. Трудно было представить себе вид менее респектабельный.

— Послушай, Рыжий, — начал наместник, — речь идет об этой эпидемии. Нам необходимо заставить туземцев соблюдать меры предосторожности, и мы хотим, чтобы ты нам помог.

— На кой черт мне это нужно?

— Без всякой причины. Просто из человеколюбия.

— Не получится, наместник. Я не человеколюб.

— Ну что ж, тогда все. Можешь идти.

Но когда Рыжий Тед повернулся, чтобы уходить, его остановила мисс Джонс.

— Это было мое предложение, мистер Уилсон. Видите ли, меня посылают на Лабобо и Сакунчи, а тамошние аборигены народ темный, одна я ехать боюсь. Вот и подумала, что с вами будет безопасней.

Он посмотрел на нее с крайней неприязнью.

— Вы что, думаете, мне будет не все равно, если вам перережут глотку?

Глаза мисс Джонс наполнились слезами. Он стоял и тупо глядел, как она плачет.

— Вы правы, нет никакой причины, по которой вы должны ехать, — сказала она, взяв себя в руки и утерев слезы. — Это было глупостью с моей стороны. Ничего со мной не случится. Поеду одна.

— Большей дурости не придумаешь — женщине одной ехать на Лабобо.

Она едва заметно улыбнулась ему.

— Согласна с вами, но, видите ли, это моя работа, и тут ничего не поделаешь. Простите, если моя просьба оскорбила вас, и постарайтесь забыть. Должна признать, что было не слишком честно просить вас пойти на такой риск.

С минуту Рыжий Тед молча смотрел на нее, переминаясь с ноги на ногу. Его мрачное лицо, казалось, темнело на глазах.

— А, черт, будь по-вашему, — сказал он нако-

нец. — Я поеду с вами. Когда вы отплываете?

Они отбыли на следующий день на административном катере, груженном медикаментами и дезинфицирующими средствами. Мистер Грюйтер, как только работа была организована и колесо закрутилось, отбыл на прау в противоположном направлении. Эпидемия бушевала четыре месяца. Хоть было сделано все возможное, чтобы локализовать ее, холера захватывала один остров за другим. Наместник не знал покоя с раннего утра до позднего вечера. Не успевал он вернуться с того или иного острова на Бару, чтобы заняться делами, как приходилось снова пускаться в путь. Он распределял продукты и медикаменты. Он ободрял обуянное страхом население. Он руководил всем. Он работал как лошадь. С Рыжим Тедом он ни разу за это время не виделся, но слышал от мистера Джонса, что эксперимент удался сверх всяких ожиданий. Негодник показал себя с лучшей стороны. Он находил общий язык с туземцами и с помощью уговоров, суровости, а порой и кулака сумел заставить их делать все необходимое для их собственной безопасности. Мисс Джонс могла поздравить себя с успехом. Но наместник был слишком измотан, чтобы веселиться. Когда эпидемия пошла нако-

нец на спад, он имел все основания гордиться, потому что из восьми тысяч островного населения умерло только шестьсот человек.

И вот настал момент, когда он смог объявить эпидемию полностью ликвидированной.

Однажды вечером он сидел в домашнем саронге у себя на веранде и читал французский роман со счастливым сознанием того, что снова может жить спокойно, когда старший бой доложил ему, что его хочет видеть Рыжий Тед. Наместник встал и позвал гостя. Хорошая компания была именно тем, чего ему недоставало. Ему уже приходила мысль, что было бы неплохо напиться сегодня вечером, но пить одному скучно, поэтому он с сожалением отказался от этого намерения. И вот небо в самый нужный момент посылает ему Рыжего Теда. Ну и ночку они себе устроят Божьей милостью. После таких трудных четырех месяцев они заслужили немного веселья. Вошел Рыжий Тед. Он был в чистом полотняном костюме, гладко выбрит и казался совершенно другим человеком.

— Эй, Рыжий, ты выглядишь так, будто месяц провел в санатории, а не нянчился с кучей туземцев, умирающих от холеры. А как одет! Просто с иголочки.

Рыжий Тед смущенно улыбнулся. Старший бой принес две бутылки пива и разлил по стаканам.

— Угощайся, Рыжий, — пригласил наместник, поднимая свой стакан.

— Я, пожалуй, не буду, спасибо.

Наместник поставил стакан и изумленно посмотрел на Рыжего Теда.

— Почему? Что случилось? Тебя не мучает жажда?

— Я бы не отказался от чашки чая.

— Чашки чего?

— Я больше не пью. Мы с Мартой собираемся пожениться.

— Рыжий! — У наместника чуть глаза из орбит не повылазили. Он почесал свой бритый подбородок. — Ты не можешь жениться на мисс Джонс. Никто не может жениться на мисс Джонс.

— Ну а я женюсь. Об этом-то я и пришел вам сказать. Оуэн собирается обвенчать нас в часовне, но мы хотим зарегистрировать свой брак и по голландскому закону.

— Вот так шутка, Рыжий. А в чем ее соль?

— Она так хочет. Она влюбилась в меня в ту ночь, которую мы провели на острове, когда винт сломался. Она неплохая старушенция, когда познакомишься поближе. И это ее последний шанс,

вы же понимаете, а мне хотелось бы сделать для нее что-нибудь хорошее. Ей нужен кто-то, кто будет о ней заботиться, это точно.

— Рыжий, Рыжий, да ты и глазом моргнуть не успеешь, как она превратит тебя в чертова миссионера.

— А я бы не сильно и возражал, если бы мы открыли свою небольшую миссию. Она говорит, что я чертовски здорово обращаюсь с туземцами. Она считает, что я за пять минут могу добиться от аборигена больше, чем Оуэн — за год. И еще она говорит, что никогда не видела человека, обладающего таким магнетизмом, как у меня. Жаль зарывать такой талант в землю.

Наместник смотрел на него в немом изумлении, лишь несколько раз кивнул. Ловко же она его одурачила.

— Я обратил уже семнадцать туземцев, — сказал Рыжий Тед.

— Ты? Вот уж не знал, что ты такой правоверный христианин.

— Да я и сам этого до сих пор точно не знаю, но когда я говорил с ними и они, как стадо чертовых овец, шли за мной в загон, это было нечто. Ни фига себе, сказал я тогда, а ведь в этом что-то есть, провалиться мне на этом месте.

— Тебе надо было ее тогда изнасиловать, Рыжий. Я бы с тобой строго не обошелся. Дал бы не больше трех лет, а три года пролетели бы — оглянуться бы не успел.

— Послушайте, наместник, можно мне вас попросить: никогда не говорите ей, что эта мысль мне и в голову не приходила. Женщины, они такие чувствительные, знаете, она страшно расстроится, если узнает.

— Я догадывался, что она глаз на тебя положила, но никогда не думал, что дойдет до такого. — Наместник взволнованно мерил шагами веранду. — Послушайся меня, приятель, — сказал он по некотором размышлении, — мы с тобой прекрасно проводили время, а друг есть друг. Я скажу тебе, что бы я сделал на твоем месте. Я дам тебе катер, ты сможешь уехать, спрятаться на каком-нибудь дальнем острове и дождаться ближайшего корабля, который будет проходить мимо. Я сделаю так, чтобы он причалил к острову и взял тебя на борт. Это сейчас твой единственный шанс все бросить и сбежать.

Рыжий Тед покачал головой.

— Нет, это нехорошо, наместник, я знаю, вы мне добра желаете, но я женюсь на чертовой бабе, это решено. Вы не знаете, какая это радость

приводить всех этих грешников, черт их побери, к раскаянию, а к тому же — Господи Иисусе! — какой пудинг на патоке стряпает эта девчонка! Ничего лучше с детства не ел.

Наместник весьма серьезно озаботился. Пьяный паршивец был его единственным собеседником на островах, и он не хотел терять его. Неожиданно для себя он обнаружил, что даже по-своему привязан к нему. На следующий день мистер Грюйтер отправился к миссионеру.

— Это правда, что ваша сестра выходит замуж за Рыжего Теда? — спросил он его. — В жизни не слыхивал ничего более экстравагантного.

— Тем не менее это правда.

— Но вы должны что-то сделать. Это же безумие.

— Моя сестра совершеннолетняя и вольна делать то, что ей нравится.

— Но не хотите же вы сказать, что одобряете этот брак? Вы же знаете Рыжего Теда. Он никчемный человек, и тут уж ничего не поделаешь. Вы говорили с ней о том, как она рискует? То есть приводить грешников к покаянию и все такое прочее — это очень хорошо, но всему же есть предел. Горбатого могила исправит.

И тут впервые за все время их знакомства

наместник увидел веселый огонек в глазах миссионера.

— Моя сестра — очень решительная женщина, мистер Грюйтер, — ответил он. — С той ночи, проведенной ими на острове, Эдвард был обречен.

Наместник даже рот раскрыл от удивления, как прорицатель Валаам, когда Господь отверз уста его ослицы и та сказала: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?»[8] В конце концов, может, и мистеру Джонсу не чуждо ничто человеческое.

— Allejesus! — пробормотал наместник.

Прежде чем разговор успел продолжиться, в комнату стремительно ворвалась мисс Джонс. Она сияла и выглядела лет на десять моложе. Щеки ее румянились, а нос был почти совсем не красным.

— Вы пришли поздравить меня, мистер Грюйтер? — воскликнула она, радуясь, как девчонка. — Вот видите, я все же оказалась права. В каждом человеке есть что-то хорошее. Вы представить себе не можете, как великолепен был Эдвард в течение всего этого ужасного времени. Он герой. Он святой. Даже я была удивлена.

---

[8] Примечания: 8
Числ. 22:28.

— Надеюсь, вы будете очень счастливы, мисс Джонс.

— Уверена, что буду. Ах, было бы дурно с моей стороны сомневаться в этом, потому что сам Бог свел нас.

— Вы так полагаете?

— Я это знаю. Разве вы не видите? Если бы не холера, Эдвард так и не обрел бы себя. Если бы не холера, мы бы никогда по-настоящему не узнали друг друга. Я еще ни разу не видела, чтобы рука Господа явила себя с такой очевидностью.

Наместник не мог не отметить про себя, что средство было выбрано слишком уж сильнодействующее, чтобы соединить эту пару: смерть шестисот невинных людей; однако, не будучи достаточно сведущим в путях Всемогущего, предпочел промолчать.

— Вы никогда не догадаетесь, где мы собираемся провести свой медовый месяц, — сказала мисс Джонс, быть может, даже чуточку игриво.

— На Яве?

— Нет. Если вы позволите нам взять катер, мы поедем на тот самый необитаемый остров, где вынужденно высадились тогда. У нас с ним связаны очень нежные воспоминания. Именно там я впервые поняла, как добр и великодушен

Эдвард. И именно там я хочу вознаградить его.

Едва сумев перевести дух, наместник быстро удалился, потому что понял: если он немедленно не выпьет бутылку пива, с ним случится припадок. Никогда в жизни он еще не был так потрясен.

СУМКА С КНИГАМИ

© Перевод. В. Скороденко, 2009

Одни читают для пользы, что похвально; другие для удовольствия, что безобидно; немало людей, однако, читают по привычке, и это занятие я бы не назвал ни безобидным, ни похвальным. К этим последним отношусь, увы, и я. Разговор, в конце концов, нагоняет на меня скуку, от игры я устаю, а собственные мысли рано или поздно истощаются, хотя, как утверждают, размышления — лучший отдых благоразумного человека. Тут-то я и хватаюсь за книгу, как курильщик опиума за свою трубку. Чем обходиться без чтения, я уж лучше буду читать каталог магазина армии и флота или железнодорожный справочник Брэдшо; кстати, каждое из этих изданий доставило мне немало приятных часов.

Было время — я не выходил из дома без свежего букинистического каталога в кармане. По мне, так нет чтения лучше. Разумеется, такое пристрастие к чтению столь же предосудительно, как тяга к наркотику, и я не перестаю дивиться глупости великих книгочеев, которые только

потому, что они книгочеи, презирают людей необразованных. Разве с точки зрения вечности достойнее прочитать тысячу книг, чем поднять плугом миллион пластов? Давайте признаемся, что мы так же не можем без книги, как иные без опия, — кому из нашей братии неведомы беспокойство, чувство тревоги и раздражительность, когда приходится подолгу обходиться без чтения, и вздох облегчения, что исторгает из груди вид странички печатного текста? — и будем по этой причине столь же смиренны, как несчастные рабы иглы или пивной кружки.

Подобно наркоману, который не выходит из дома без запаса губительного зелья, я ни за что не отправлюсь в поездку без достаточного количества печатной продукции. Книги мне так необходимы, что когда в поезде я не вижу ни одной в руках моих дорожных попутчиков, то прихожу в самое настоящее смятение. Когда же мне предстоит долгое путешествие, проблема эта вырастает до грозных размеров. Жизнь меня научила. Как-то раз из-за болезни я на три месяца застрял в горном городишке на Яве. Я прочитал все привезенные с собой книги и, не зная голландского языка, был вынужден накупить школьных хрестоматий, по которым смышленые яванцы,

очевидно, изучают французский и немецкий. Так, по прошествии двадцати пяти лет я перечитал холодные пьесы Гёте, басни Лафонтена, трагедии нежного и строгого Расина. Я преклоняюсь перед Расином, но должен признать, что читать его пьесы одну за другой требует от человека, которого донимают кишечные колики, известных усилий. С той поры я положил за правило брать в поездки самую большую сумку, предназначенную для грязного белья, доверху набитую книгами на любой случай и настроение. Сумка весит добрую тонну, под ее тяжестью сгибаются и крепкие носильщики. Таможенники косятся на нее с подозрением, однако в испуге отшатываются, стоит мне их заверить, что в ней одни только книги. Неудобство сумки заключается в том, что именно то издание, которое мне вдруг приспичило почитать, обязательно оказывается на самом дне, и чтобы до него добраться, приходится вываливать на пол все содержимое. Но если б не это, я бы скорее всего так никогда и не узнал необычную историю Оливии Харди.

Я путешествовал по Малайе, останавливаясь там и тут — на неделю-другую, если имелась гостиница или пансион, и на пару дней, если приходилось жить в доме местного плантатора

или начальника округа, чьим гостеприимством мне не хотелось злоупотреблять; в тот раз я оказался в Пенанге. Это милый городок, и тамошняя гостиница, на мой взгляд, вполне приемлема, но приезжему там решительно нечем заняться, так что я тяготился избытком свободного времени. В один прекрасный день я получил письмо от человека, которого знал только по имени. То был Марк Фезерстоун, исполнявший обязанности резидента — сам резидент отбыл в отпуск — в местечке под названием Тенгара. Там правил султан, и, как сообщалось в письме, должно было состояться какое-то празднество на воде, которое, считал Фезерстоун, могло бы меня заинтересовать. Он писал, что будет рад принять меня на несколько дней. Я телеграфировал, что с удовольствием принимаю приглашение, и на другой день выехал поездом в Тенгару. Фезерстоун встретил меня на перроне. На вид я бы дал ему около тридцати пяти. Он был высокий красивый мужчина с выразительными глазами и сильным суровым лицом. У него были жесткие черные усы и кустистые брови. Он больше походил на военного, чем на государственного чиновника. В своих белых парусиновых брюках и белом тропическом шлеме он выглядел просто великолепно,

одежда сидела на нем точно влитая. Держался он несколько скованно, что было странно для такого рослого человека с решительной повадкой, но я отнес это исключительно за счет того, что общество загадочного создания, именуемого писателем, ему в новинку, и понадеялся в скором будущем вернуть ему непринужденность.

— Мои слуги присмотрят за вашими вещами, — сказал он, — а мы отправимся в клуб. Дайте им ключи — они распакуют все к нашему возвращению.

Я объяснил, что багажа у меня много и проще взять самое необходимое, а прочее оставить в камере хранения на вокзале, но он не хотел об этом и слышать.

— Ни малейшего неудобства. В моем доме будет надежнее. Вещи всегда лучше держать при себе.

— Хорошо.

Я вручил ключи и квитанцию на чемодан и сумку с книгами слуге-китайцу — тот стоял чуть позади моего любезного хозяина. За вокзалом нас ждал автомобиль, в него мы и сели.

— Вы играете в бридж? — спросил Фезерстоун.

— Играю.

— Мне казалось, большинство писателей не играют.

— Не играют, — согласился я. — В литературной среде бытует мнение, что игра в карты — признак слабоумия.

Клуб представлял собой бунгало, милое, хотя и незамысловатое; имелись большая читальня, бильярдная на один стол и комнатка для игры в карты. В самом клубе мы застали двух-трех человек, читавших английские еженедельники; на теннисных кортах играли несколько пар. На веранде было больше народа — сидели, курили, наблюдали за игрой, потягивали напитки. Фезерстоун представил меня двум или трем. Однако смеркалось, и скоро игроки едва различали мяч. Фезерстоун предложил одному из тех, с кем только что меня познакомил, сыграть роббер. Тот согласился. Фезерстоун поискал глазами четвертого партнера. Его взгляд остановился на мужчине, сидевшем несколько на отшибе. Фезерстоун подумал — и пошел к нему. Они обменялись парой слов, подошли к нам, и мы проследовали в игорную. Поиграли мы хорошо. Я не очень присматривался к своим случайным партнерам. Они заказали мне выпивку за свой счет, и я, как временный член клуба, в свою очередь заказал им за собственный. Порции, впрочем, были очень маленькие, и за два часа,

что мы провели за картами, каждый получил возможность продемонстрировать свою щедрость, не злоупотребляя спиртным. Когда до закрытия клуба времени осталось как раз на последний роббер, мы перешли на джин с горькой настойкой. Роббер закончился, Фезерстоун затребовал клубную книгу записей и внес в нее выигрыши и проигрыши.

— Что ж, мне пора, — произнес, поднимаясь, один из игравших.

— Назад в имение? — спросил его Фезерстоун.

— Ага, — кивнул тот и обратился ко мне: — Вы завтра придете?

— Надеюсь.

— Заеду за моей благоверной и — домой обедать, — сказал другой.

— Нам тоже пора собираться, — заметил Фезерстоун.

— Я готов, дело за вами, — ответил я.

Мы сели в машину и отправились к Фезерстоуну. Ехали довольно долго. Было темно, я мало что видел, но понял, когда дорога довольно круто пошла в гору. Так мы добрались до резиденции.

Вечер как вечер, приятный, но отнюдь ничем не отмеченный, таких вечеров у меня бывало предостаточно, всех не упомнить. И от этого ве-

чера я тоже не ждал ничего особенного.

Фезерстоун провел меня в гостиную — уютную, но несколько заурядную. В ней стояли большие плетеные кресла, обитые кретоном, стены были сплошь увешаны фотографиями в рамках, на столах и столиках валялись какие-то бумаги, журналы, служебные отчеты вперемежку с трубками, желтыми коробками сигарет и розовыми жестянками с табаком. На вытянутых в ряд книжных полках беспорядочно теснились книги с корешками, попорченными плесенью и полчищами белых муравьев. Фезерстоун провел меня в отведенную мне комнату и удалился со словами:

— Перед ужином выпьем джину с настойкой. За десять минут управитесь, чтобы потом выпить джину?

— Без труда, — ответил я.

Я принял ванну, переоделся и спустился на первый этаж. Фезерстоун, управившийся еще быстрее, принялся готовить джин, заслышав мои шаги на деревянной лестнице. Мы пообедали. Поговорили. Празднество, посмотреть которое меня пригласили, должно было состояться через день, но Фезерстоун сообщил, что еще до этого меня примет султан, о чем он договорился.

— Милейший старик, — сказал он. — Да и во

дворце есть на что поглядеть.

После обеда мы еще немного побеседовали; Фезерстоун завел граммофон, мы пролистали последние прибывшие из Англии еженедельники. Потом отправились спать. Фезерстоун заглянул узнать, не нужно ли мне чего.

— Боюсь, книг вы с собою не прихватили, — заметил он, — а у меня читать нечего.

— Книг? — воскликнул я и указал на сумку. Она стояла стоймя, раздувшись с одного бока, так что напоминала наклюкавшегося горбатого карлика.

— Так у вас там книги? А я думал — грязное белье, складная койка или еще что. Найдется что-нибудь для меня?

— Выбирайте сами.

Слуги Фезерстоуна развязали сумку, но, убоявшись зрелища, которое им открылось, этим и ограничились. За долгие годы я наловчился ее вытряхивать. Завалив ее набок, я вцепился в кожаное дно и попятился, потянув за собой мешок, который отдал свое содержимое. Книги потоком хлынули на пол. Фезерстоун взирал на это с обалделым видом.

— Неужто вы и вправду возите с собой всю эту библиотеку? Кто бы подумал!

Он наклонился и стал быстро переворачивать книги, проглядывая названия. Книги были самые разные. Томики стихов, романы, философские трактаты, литературная критика (говорят, книги о книгах бесполезны, но читать их, ей-богу, весьма приятно), жизнеописания, исторические сочинения; книги для чтения во время болезни и книги для чтения, когда живой и бодрый ум жаждет вступить в единоборство с какой-нибудь проблемой; книги, которые всю жизнь хотелось прочесть, да дома за суетой все было недосуг; книги для чтения в плавании, когда без определенной цели бороздишь на грузовом пароходике проливы, и книги для непогоды, когда каюта скрипит сверху донизу и приходится привязывать себя к койке, чтобы не вывалиться; книги, отобранные исключительно из-за толщины, — их берут с собой, когда надо путешествовать налегке, и книги, которые можно читать, когда нет сил читать все другое. В конце концов Фезерстоун отобрал недавно вышедшее жизнеописание Байрона.

— Ага, что я вижу? — сказал он. — Помнится, я читал на нее рецензию.

— Думаю, очень хорошая книга, — ответил я. — Сам я еще не успел прочесть.

— Можно взять? На эту ночь мне ее, во всяком случае, хватит.

— Конечно. Берите любые.

— Спасибо, мне этой достаточно. Что ж, спокойной вам ночи. Завтрак в половине девятого.

Когда я утром спустился в гостиную, старший слуга сообщил, что Фезерстоун уже с шести часов за работой, но скоро будет. Дожидаясь его прихода, я разглядывал книги на полках.

— Я вижу, у вас тут отменное собрание изданий по бриджу, — заметил я, когда мы сели за завтрак.

— Да, покупаю все, что выходит. Я очень увлекаюсь бриджем.

— Тот, с кем мы вчера играли, — хороший игрок.

— Это который? Харди?

— Имен не помню. Не тот, который собирался заехать за женой, а другой.

— Да, Харди. Поэтому я его и пригласил. Он в клубе нечастый гость.

— Надеюсь, сегодня он явится.

— Я бы не стал на это рассчитывать. У него плантация миль за тридцать от города. Не так уж и близко, чтобы приезжать только ради партии в бридж.

— Он женат?

— Нет. То есть да. Но жена его — в Англии.

— Мужчинам на этих плантациях без жен, верно, страшно одиноко, — заметил я.

— Ну, ему еще не так худо, как некоторым. Не думаю, чтобы он очень рвался бывать в обществе. В Лондоне, по-моему, ему было бы так же одиноко.

В том, как произнес это Фезерстоун, я уловил нечто не совсем обычное. Самим своим тоном он словно захлопнул какую-то дверцу — иначе я просто не могу описать. Казалось, он разом от меня отдалился. Такое впечатление, будто ты шел поздним вечером по улице, на минутку остановился полюбоваться в освещенное окно на уютную комнату, и тут невидимая рука внезапно опустила штору. Его глаза, обычно откровенно смотревшие в лицо собеседнику, на этот раз уклонились от моего взгляда, и у меня сложилось впечатление, что гримаса боли, мелькнувшая у него на лице, мне отнюдь не привиделась. Оно на миг передернулось, как бывает при невралгии. Мне ничего не приходило на ум, да и Фезерстоун тоже молчал. Я понял, что его мысли отвлеклись от меня и от темы нашего разговора и обратились к вещам, мне неизвестным. Вскоре, однако, он с

едва заметным, но явным вздохом встрепенулся и усилием воли взял себя в руки.

— После завтрака я сразу отправлюсь на службу, — сказал он. — А вы чем намерены заняться?

— Обо мне, пожалуйста, не беспокойтесь. Буду себе бездельничать. Прогуляюсь до центра, погляжу на город.

— Достопримечательностей у нас раз-два и обчелся.

— Тем лучше, а то они мне до смерти надоели.

Как выяснилось, вида с Фезерстоуновой веранды мне хватило на все утро. А вид был из самых волшебных, что мне доводилось встречать в Малайе.

Дом стоял на вершине холма, к нему прилегал большой ухоженный сад. Огромные деревья придавали саду удивительное сходство с английским парком. В нем имелись обширные газоны, на которых темнокожие худые тамилы косили траву; их движения были неспешны и прекрасны. Дальше, у подножия холма, плотные джунгли шли до берега широкой извилистой быстротекущей реки, а за ней, насколько хватало взгляда, простирались поросшие лесом холмы Тенгары. Контраст между аккуратными газонами с их неожиданно английским обликом и

дикими зарослями джунглей, начинавшихся сразу за садом, приятно будоражил воображение. Я сидел, читал и покуривал. Моя профессия — узнавать все о людях, и я задался вопросом: как этот мирный вид, исполненный тем не менее трепетного и темного смысла, действует на Фезерстоуна, у которого он постоянно перед глазами? Фезерстоун видит его во всякое время суток: на рассвете, когда поднимающийся от реки туман окутывает его в призрачные покровы; в полуденном блеске; наконец, в тот сумеречный час, когда тени крадучись выползают из джунглей, как воинство, осторожно пробирающееся по неразведанной местности, и вот уже укрывают безмолвием ночи зеленые газоны, и громады цветущих деревьев, и гордые плюмажи кассии. И я задумался: а что, если нежный и, однако же, странно зловещий характер ландшафта, незаметно для самого Фезерстоуна накладываясь на его психику и одиночество, наделил его некими тайными свойствами; так что жизнь, которую он ведет, — жизнь способного администратора, спортсмена и доброго малого, — время от времени кажется ему не совсем настоящей? Я улыбнулся своим фантазиям, ибо наша беседа накануне вечером решительно не обнаружила в

нем какого-либо томления духа. На меня он произвел впечатление славного малого. Он учился в Оксфорде и состоял в хорошем лондонском клубе. Похоже, он придавал большое значение своему положению в обществе. Он был джентльменом и не забывал о том, что принадлежит к лучшему сословию, чем большинство англичан, с которыми его сводила жизнь. Столовую его дома украшали разнообразные серебряные кубки, из чего я заключил, что он преуспевает в спортивных играх. Он играл в теннис и на бильярде. На отдыхе он занимался охотой и, заботясь о фигуре, соблюдал тщательную диету. Он охотно распространялся о том, чем займется, уйдя на пенсию. Его мечтой было зажить сельским джентльменом: домик в Лестершире, пара охотничьих собак и соседи, с которыми можно сыграть в бридж. Будет идти пенсия, есть и собственный небольшой капитал. Пока же он упорно трудился, выполняя свою работу если не с блеском, то, безусловно, со знанием дела. Не сомневаюсь, что в глазах начальства он был надежным, исполнительным работником. Шаблон, по которому его скроили, был мне слишком знаком, чтобы вызывать особенный интерес. Он напоминал собою роман — тщательно написанный, правдивый и дельный, однако несколько

заурядный, а потому похожий на что-то уже читанное, так что вяло перелистываешь страницы, зная, что книга не удивит, не затронет души.

Но люди непредсказуемы, и глуп тот, кто внушает себе, будто ему ведомо, на что человек способен.

Днем Фезерстоун повел меня к султану. Нас встретил один из его сыновей, застенчивый улыбающийся юноша, выполняющий при отце роль адъютанта. На нем был изящный синий костюм, однако поверх брюк он носил саронг из желтой материи в белый цветочек, на голове — красную феску, а на ногах — американские ботинки из грубой кожи.

Построенный в мавританском стиле, дворец напоминал большой кукольный дом и был выкрашен в ярко-желтый цвет — цвет правящей династии. Нас провели в просторную комнату, обставленную мебелью, какую можно найти в английском пансионе на море, только кресла были обиты желтым шелком. На полу лежал брюссельский ковер, а на стенах висели фотографии в роскошных позолоченных рамах, запечатлевшие султана при отправлении различных государственных обязанностей. В стеклянной горке было выставлено большое собрание вышивок тамбу-

ром, все с изображением разнообразных фруктов. Вошел султан, с ним несколько человек свиты. На вид ему было около пятидесяти; низенький и полный, он был облачен в брюки и китель из материи в крупную белую и желтую клетку; вокруг талии у него был обмотан очень красивый желтый саронг, на голове — белая феска. В больших красивых глазах светилось дружелюбие. Нам было предложено: из напитков — кофе, из еды — сладкие пирожки, а из курева — манильские сигары. Беседа текла непринужденно, поскольку султан был очень приветлив. Он сказал мне, что ни разу не был в театре и не брал в руки карт, ибо крепок в вере, что у него четыре жены и двадцать четыре ребенка. Единственное, что, видимо, омрачало ему счастье, — так это требования элементарной порядочности, из-за которых ему приходилось делить свое время поровну между женами. Он сказал, что с одной час тянется месяц, тогда как с другой пробегает за пять минут. Я заметил, что профессор Эйнштейн — или Бергсон? — высказал аналогичное наблюдение о природе времени, и именно по этому вопросу, дав тем самым человечеству хороший повод для размышлений. Вскоре мы откланялись. На прощанье султан подарил мне несколько изящнейших белых тросточек из

ротанговой пальмы.

Вечером мы отправились в клуб. Когда мы вошли, один из наших вчерашних партнеров поднялся из кресла.

— Готовы сыграть роббер-другой? — предложил он.

— А где наш четвертый? — спросил я.

— Ну, тут у нас найдутся такие, кто будет только рад.

— А тот, с кем мы играли вчера? Я забыл его имя.

— Харди? Его нет.

— Ждать его не имеет смысла, — сказал Фезерстоун. — Он редко бывает в клубе. Я удивился, когда вчера его увидел.

Не знаю, почему у меня возникло впечатление, что за самыми обычными словами этих двоих крылось какое-то непонятное замешательство. На меня Харди не произвел впечатления, я даже не помнил, как он выглядит. Четвертый партнер за карточным столом, только и всего. У меня возникло чувство, что они настроены против него. Впрочем, меня это не касалось, и я охотно уселся играть с тем, кто к нам присоединился в этот вечер. На сей раз игра пошла куда веселее. Мы много подшучивали друг над другом. Играли

не так сосредоточенно, как накануне, много смеялись. Я не мог понять, то ли мои партнеры стали меньше стесняться неожиданно свалившегося на них гостя, то ли общество Харди их как-то сковывало. В половине девятого встали из-за стола, и мы с Фезерстоуном возвратились домой обедать.

После обеда мы развалились в креслах и закурили по манильской сигаре. Беседа почему-то не клеилась. Я затронул одну за другой несколько тем, но так и не сумел расшевелить Фезерстоуна. Мне было подумалось, что за последние сутки он высказал все, что имел сказать. Несколько обескураженный, я замолк. Молчание затягивалось, и снова, не знаю почему, мне почудился в нем скрытый смысл, которого я не мог уловить. Мне стало слегка не по себе. У меня возникло странное чувство, порой возникающее у человека в пустой комнате, — будто кроме него тут есть кто-то еще. До меня дошло, что Фезерстоун сверлит меня настойчивым взглядом. Я сидел у лампы, а он в тени, поэтому я не видел выражения его лица. У него, однако, были большие блестящие глаза, и в полумраке они, казалось, тускло светились. Мне они напомнили новые пуговки на ботинках, мерцающие в отраженном свете. Я не понимал, почему он на меня так уставился. Посмотрев на

него и перехватив его упорно прикованный ко мне взгляд, я слабо улыбнулся.

— Любопытная книжка — та, что вы мне вчера одолжили, — неожиданно произнес он; я не мог не заметить, что его голос звучал не вполне естественно. Слова срывались у него с губ, словно кто-то выталкивал их изнутри.

— А, жизнь Байрона? — заметил я беззаботно. — Вы уже прочитали?

— Большую часть. Читал до трех утра.

— Мне говорили, что написано крепко. Правда, до такой степени Байрон меня едва ли интересует — слишком много в нем было страшно посредственного. Даже как-то неудобно за него становится.

— Много, по-вашему, правды в том, что рассказывали о нем и его сестре?

— Августе Ли? Я мало что знаю об этом. «Астарту»[9] я не читал.

— Как вы думаете, они и в самом деле любили друг друга?

— Вероятно. Недаром молва утверждает, что она была единственной женщиной, которую он любил по-настоящему.

---

[9] Примечания: 9

«Астарта» Р. Милбэнка рассказывает историю взаимоотношений Байрона и его сводной сестры.

— Вы способны это понять?

— Честно говоря, нет. Не то чтобы меня это сильно шокировало, просто кажется неестественным. Впрочем, «неестественный», пожалуй, не то слово. Просто это недоступно моему разумению. Я не способен настроиться таким образом, чтобы подобное представилось возможным. Вы ведь знаете, именно так писатель постигает своих героев — ставя себя на их место, заражаясь их чувствами.

Я видел, что выражаю свои мысли неясно, но я пытался описать ему ощущения, работу подсознания, которые прекрасно знал по личному опыту, однако не мог точно выразить словами. Я продолжал:

— Она, понятно, была ему лишь сводной сестрой, но точно так же как привычка убивает любовь, так, казалось бы, она не допускает и ее зарождения. Если двое с младенчества знают друг друга и всю жизнь тесно общаются, мне трудно вообразить, с чего бы это между ними пробежать внезапной искре, от которой зажжется любовь. Скорее всего их соединит взаимная привязанность; я же не знаю большей противоположности любви, чем привязанность.

Я едва различил в полумраке тень улыбки,

скользнувшей по массивному и, как мне тогда показалось, мрачному лицу хозяина.

— Так вы верите только в любовь с первого взгляда?

— Пожалуй, да, но с одной оговоркой: можно встречаться раз двадцать, прежде чем по-настоящему взглянуть друг на друга. У глагола «глядеть» два смысла — активный и пассивный. Большинство тех, с кем нас сводит жизнь, так мало для нас значат, что мы не даем себе труда на них поглядеть. Они проходят перед глазами — и дело с концом.

— Да, но часто приходится слышать о супружеских парах, когда будущие муж и жена были знакомы долгие годы, никому и в голову не приходило, будто они питают друг к другу малейший интерес, а в один прекрасный день они взяли да поженились. Чем вы это объясняете?

— Ну, раз уж вы требуете от меня логики и последовательности, я бы сказал, что их любовь — это любовь другого рода. В конце концов, страстная любовь не единственное основание для вступления в брак; возможно, даже не лучшее. Браки, бывает, заключаются и от одиночества, и между добрыми друзьями, и просто ради удобства. Хотя я говорил, что привязанность — первейший враг

любви, я не подумаю спорить с тем, что она же и прекрасный ее заменитель. Не берусь утверждать, что браки, основанные на привязанности, не получаются и счастливейшими.

— Что вы думаете о Тиме Харди?

Я как-то не ждал этого внезапного вопроса, который вроде бы не имел касательства к теме нашего разговора.

— Я о нем особо не задумывался. Мне он показался вполне симпатичным. Почему вы об этом спрашиваете?

— На ваш взгляд, он такой, как все?

— Да. Разве в нем есть что-то особенное? Если б предупредили, я бы к нему пригляделся.

— Он очень сдержанный, правда? Кто про него ничего не знает, тот, пожалуй, на него лишний раз и не посмотрит.

Я попытался вспомнить, как он выглядит. За карточным столом мое внимание привлекло в нем только одно — красивые руки. Я тогда еще лениво подумал, что для плантатора очень уж они необычны. Но почему у плантатора руки должны быть не такие, как у всех прочих? — таким вопросом я не удосужился задаться. У Харди руки были крупноваты, но очень изящные, с необыкновенно длинными пальцами и превосходной формы

ногтями. Очень мужественные руки, однако же на удивление нежные. Я это отметил и перестал о них думать. Но если вы писатель, то инстинкт и многолетняя привычка закрепляют в памяти впечатления, о которых сами вы и не подозреваете. Порою они, конечно, не соответствуют действительности. Скажем, какая-то женщина остается у вас в подсознании как нечто темное, крупное и волоокое, тогда как на самом деле она довольно миниатюрна и волосы у нее неопределенного цвета. Но это не важно. Иной раз впечатление бывает куда правдивей, чем голая истина. Вот и теперь, стараясь вызвать из глубин сознания облик этого человека, я ощутил в нем какую-то двойственность. Он был чисто выбрит, и его лицо, продолговатое, однако не худое, показалось мне до странности бледным под слоем многолетнего тропического загара. Черты лица я видел неясно. Не знаю, запомнил ли я это с того раза или вообразил только сейчас, но округлый его подбородок оставлял впечатление известной слабости. У него были густые каштановые волосы, едва тронутые сединой, и длинная их прядь постоянно падала на лоб. Он отбрасывал ее назад привычным движением. В его довольно больших карих глазах чуть проглядывала печаль; легко представить,

что их мягкая чувственность могла быть весьма обаятельной. Фезерстоун, помолчав, продолжал:

— Довольно странно, что после стольких лет я здесь снова встретился с Тимом Харди. Впрочем, в Малайе такое не редкость. Люди переезжают с места на место, и неожиданно сталкиваешься с человеком, с которым водил знакомство много лет тому назад в другой части страны. Я познакомился с Тимом, когда он владел плантацией неподалеку от Сибуку. Вы там бывали?

— Нет. А где это?

— Много северней. Ближе к Сиаму. Специально туда ехать не стоит — место как место, в Малайе таких полно. Довольно милое. Там был замечательный маленький клуб и жили вполне приличные люди. Директор школы и начальник полиции, доктор, католический священник и управляющий общественным строительством. Сами знаете, обычный набор. Несколько плантаторов. Три-четыре женщины. Я работал тогда помощником начальника округа, это было мое первое назначение. У Тима Харди была плантация миль за двадцать пять. Он жил там с сестрой. У них водились деньги, вот он и купил себе участок. Цены на каучук тогда были высокие, так что он недурно зарабатывал. Мы с ним вроде как

подружились. С плантаторами, ясное дело, всегда приходится идти на риск. Среди них встречаются очень порядочные ребята, но они не совсем… — Он поискал словечко или фразу, от которых бы не отдавало снобизмом. — В общем, они не из тех, с кем, как правило, станешь дружить домами. Но Тим и Оливия — эти были мне ровня, вы понимаете, что я имею в виду.

— Оливия — так звали сестру?

— Да. Прошлое у них было далеко не веселое. Родители разошлись, когда дети были еще маленькие, лет семи-восьми, мать забрала Оливию, а Тим остался с отцом. Тима отдали в закрытую школу Клифтон — семья была родом из Западных графств, — и домой он приезжал только на каникулы. Его отец, флотский на пенсии, жил в Фоуи. А вот Оливия отправилась с матерью в Италию. Она училась во Флоренции, в совершенстве знала итальянский язык, да и французский тоже. Все эти годы брат с сестрой ни разу не виделись, но регулярно писали друг другу письма. В детстве они были очень дружны. Насколько я мог понять, их существование, когда родители еще жили вместе, было довольно бурным, сплошные сцены и ссоры, как оно всегда бывает, если супруги в разладе, так что детям волей-неволей приходилось

рассчитывать на самих себя. Их подолгу оставляли друг с другом. Потом миссис Харди умерла, Оливия возвратилась в Англию и приехала к отцу. В это время ей исполнилось восемнадцать, а Тиму — семнадцать. Через год разразилась война, Тим пошел на фронт добровольцем, а отец, которому перевалило за пятьдесят, нашел работу в Портсмуте. Как я понимаю, он любил погулять и приложиться к бутылке. В конце войны он свалился и умер после долгой болезни. Родственников у них, видимо, не было. Они оказались последними в довольно древнем роду и наследовали роскошный старый дом в Дорсетшире, который принадлежал семье уже много поколений, однако жить там им было не по средствам, так что дом сдавался. Я, помнится, видел его на фотографиях — настоящий помещичий особняк, довольно величественный, из серого камня, с изваянием герба над парадным входом и оконными рамами со средниками. Их честолюбивой мечтой было заработать достаточно денег, чтобы переехать в него жить. Они много говорили на эту тему. По их разговорам выходило, что ни он, ни она не собираются вступать в брак, а навсегда останутся друг с другом, словно все уже решено и подписано. Это было несколько странно, учиты-

вая их юные годы.

— А сколько им тогда было? — поинтересовался я.

— Если не ошибаюсь, ему двадцать пять или двадцать шесть, ей на год больше. Когда я впервые приехал в Сибуку, они приняли меня с распростертыми объятиями. Я сразу пришелся им по душе. Видите ли, у них оказалось больше общего со мной, чем с большинством тамошних. По-моему, они обрадовались моему появлению. Особой любовью они там не пользовались.

— Почему? — спросил я.

— Они вели довольно замкнутый образ жизни, и трудно было не заметить, что общество друг друга они предпочитают всем остальным. Не знаю, замечали ли вы, но такое отношение, похоже, всегда вызывает у людей раздражение. Если они чувствуют, что вы прекрасно можете обходиться без них, им это почему-то бывает не по нутру.

— Неприятное чувство, не правда ли? — заметил я.

— Другие плантаторы обижались, что Тим сам себе хозяин и имеет собственные деньги. Им приходилось довольствоваться стареньким фордом, а Тим разъезжал в классном автомобиле.

Посещая клуб, Тим и Оливия бывали со всеми милы, они участвовали в первенствах по теннису и всем прочем, но возникало впечатление, что они с радостью возвращались к себе домой. Они не отказывались от приглашений отобедать и вели себя очень любезно с хозяевами, но было ясно, что они охотней остались бы дома. Здравомыслящий человек не мог поставить им это в вину: не знаю, часто ли вам доводилось гостить у плантаторов, но в их домах мрачновато. Сплошь грубая мебель, поделки из серебра, тигровые шкуры. И отвратительная еда. А вот Харди обставил свое бунгало довольно красиво. Ничего особо роскошного — все удобно, по-домашнему и уютно. Гостиная — как в английском сельском особнячке. Чувствовалось, что хозяева любят свои вещи и давно с ними сроднились. Бывать в таком доме было одно удовольствие. Бунгало стояло посредине плантации, но на кромке холма, так что за кронами каучуковых деревьев виднелось далекое море. Оливия тщательно следила за садом, он был у нее просто великолепный. В жизни не видел такого разнообразия канн. Обычно я приезжал к ним на субботу и воскресенье. До моря было с полчаса езды, мы брали с собой еду, купались и ходили под парусом. У Тима была

маленькая шлюпка. Славные были дни. Я и не представлял, что можно так наслаждаться жизнью. Там прекрасное побережье, и мы проводили время крайне романтично. А затем, вечерами, раскладывали пасьянсы, играли в шахматы или заводили граммофон. Еда тоже была чертовски отменная — приятное разнообразие по сравнению с обычным тамошним рационом. Оливия научила повара готовить итальянские блюда, и мы с огромным наслаждением уплетали макароны, ризотто, клецки и другие подобные кушанья.

Я против воли завидовал их жизни, безмятежной и радостной, а когда они заводили разговор про то, чем займутся, насовсем возвратившись в Англию, я обычно вставлял, что они всегда будут вздыхать о здешней жизни.

«Здесь мы очень счастливы», — говорила Оливия.

У нее была обаятельная манера поглядывать на Тима, искоса бросая из-под длинных ресниц долгий взгляд.

В собственном доме они держались совсем по-другому, чем за его стенами, — раскованно и сердечно. Это все признавали; должен сказать, что люди любили у них бывать. Они частенько приглашали гостей. У них был особый дар, бла-

годаря которому гости чувствовали себя легко и свободно. Очень счастливый был дом, если вы меня понимаете. Все, конечно, видели, что они друг к другу очень привязаны — это бросалось в глаза. И что бы там ни болтали про их высокомерие и эгоизм, людей не могла не трогать их взаимная нежность. Говорили, что будь они мужем и женой — и то бы не жили дружнее, а поглядеть на иные супружеские пары, так сравнение напрашивалось само собой: рядом с ними большинство браков смотрелись не лучшим образом. Одни и те же мысли, казалось, приходили к ним одновременно. У них были свои, непонятные для других, шутки, над которыми они смеялись, как дети. Они так мило опекали друг друга, были такие веселые и счастливые, что в их обществе человек — как бы это лучше сказать — и вправду отдыхал душой. Других слов не найти. Погостив у них пару дней, ты, уезжая, чувствовал, что отчасти проникся их безмятежностью и мягкой радостью. Словно промыл душу родниковой водой. Как будто от чего-то очистился.

Столь восторженные речи были необычны для Фезерстоуна. В своем нарядном белом коротком пиджаке того фасона, что прозывается «зад застудишь», он выглядел таким собранным, усы у него

были так ровно подстрижены, а густые курчавые волосы так тщательно расчесаны, что высокопарные его излияния слегка меня ошарашили. Я, однако, сообразил, что на свой неумелый лад он пытается выразить нечто глубоко прочувствованное.

— Как она выглядела, Оливия Харди? — спросил я.

— Сейчас покажу, у меня много любительских снимков.

Он встал, подошел к полке и вернулся с толстым альбомом. Обычный набор — неинтересные фотографии групп людей и нелестное сходство, когда их снимали поодиночке — в купальных костюмах, в шортах, в одежде для тенниса, лица у всех, как правило, перекошены из-за яркого солнца или сморщены от смеха. Я узнал Харди: за десять лет он не очень изменился, непокорная прядь и тогда свисала ему на лоб. Поглядев на фотографии, я яснее его припомнил. Они запечатлели его молодым, милым, полным сил. Лицо его привлекало живостью черт, чего я как раз не отметил тогда в клубе. В глазах искрилась и плясала жажда жизни, что было видно даже на выцветшем снимке. Я взглянул на фотографию его сестры. Купальник хорошо обрисовывал ее

ладную, крепко сложенную, но при этом тонкую фигуру. Ноги длинные и стройные.

— Они довольно похожи, — заметил я.

— Да, хотя она на год старше, они вполне могли сойти за близнецов — до того были похожи. У обоих один и тот же овал лица, одинаковая светлая кожа, никакого румянца, одни и те же ласковые карие глаза, удивительно чистые и подкупающие, так что становилось понятно: как бы они себя ни вели, сердиться на них просто невозможно. И оба отличались врожденным изяществом, так что могли носить что угодно, позволять себе любую небрежность в одежде — и все равно элегантно выглядели. Теперь-то, думаю, он утратил это качество, а ведь оно у него было, было, когда мы познакомились. Они всегда напоминали мне брата с сестрой из «Двенадцатой ночи». Вы понимаете, кого я имею в виду.

— Виолу и Себастьяна.

— Да. Они, казалось, не полностью принадлежали нашему времени. Было в них что-то елизаветинское. У меня было чувство — думаю, не только по молодости лет, — что они какие-то удивительно романтичные. Им бы жить в Иллирии.

Я еще раз глянул на один из снимков.

— У девушки, судя по ее виду, характер много тверже, чем у брата, — заметил я.

— Много тверже. Не знаю, назвали бы вы Оливию прекрасной, но она была очень привлекательной. В ней чувствовалась поэзия, своего рода лирическое начало, оно окрашивало ее движения, поступки, все-все. Оно как бы приподнимало ее над будничными заботами. В лице у нее было столько искренности, в манере держаться столько смелости и независимости, что... ну, не знаю, а только обычная красота выглядела по сравнению с этим пресной и плоской.

— Вы говорите так, словно были в нее влюблены, — вставил я.

— Конечно, был. Я думал, вы сразу догадаетесь. Я был в нее по уши влюблен.

— Это была любовь с первого взгляда? — улыбнулся я.

— Да, пожалуй, хотя с месяц или около того я этого не понимал. А когда вдруг осенило, что мое чувство к ней — не знаю, как лучше описать, это было какое-то оглушительное смятение, завладевшее всем моим существом, — что это любовь, тут я понял, что оно возникло с самого начала. И не в одной миловидности было дело, хотя она была невероятно пленительна, не в белой бар-

хатной коже, не в том, как на лоб падали волосы, и не в сдержанном очаровании ее карих глаз, — нет, тут было нечто большее. Когда она была рядом, возникало ощущение благодати и такое чувство, что можно дать себе отдых, быть самим собой и не притворяться кем-то другим. Ясно, что она не способна на подлость. Было невозможно представить, чтобы она могла завидовать или злобствовать. Она, казалось, обладала природной щедростью души. В ее обществе можно было промолчать целый час и, однако, сознавать, что прекрасно провел время.

— Редкий дар, — заметил я.

— Она была чудесным товарищем. Стоило что-нибудь предложить, как она с радостью соглашалась. Я в жизни не встречал девушки покладистей. Вы могли подвести ее в самую последнюю минуту, и, как бы она ни огорчалась, это не имело последствий. При следующей встрече она была все та же сердечность и безмятежность.

— Почему вы на ней не женились?

У Фезерстоуна потухла сигара. Он выбросил окурок и не спеша зажег новую. Он не торопился с ответом. Человеку, живущему в высокоцивилизованной стране, может показаться странным,

что Фезерстоун решил поделиться сокровенным с лицом посторонним; мне это странным не показалось. Со мной такое случалось не впервой. Люди отчаянно одинокие, живущие в удаленных уголках земли, находят облегчение в том, чтобы поведать кому-нибудь, с кем скорее всего больше не встретятся, тайну, которая, возможно, долгие годы днем давила на мысли, а ночами — на сны. Подозреваю, что уже одно то, что вы писатель, вызывает таких людей на откровенность. Они чувствуют, что их рассказ пробудит у вас бескорыстный интерес, и поэтому легче будет раскрыть перед вами душу. К тому же, как все мы знаем по личному опыту, рассказывать о себе всегда приятно.

— Почему вы на ней не женились? — спросил я.

— Я об этом мечтал, — ответил Фезерстоун после долгого молчания, — но не решался сделать предложение. Она была со мной неизменно мила, мы легко находили общий язык, были добрыми друзьями, и все же меня никогда не оставляло чувство, что ее окружает какая-то тайна. Хотя она была такой простой, такой искренней и естественной, в ней все время ощущалось глубоко запрятанное ядрышко отчужденности, как будто

в своей святая святых она хранила — нет, не загадку, но некую неприкосновенность души, до которой никто из смертных не был допущен. Не знаю, может, я говорю непонятно.

— Мне кажется, я понимаю.

— Я объяснял это ее воспитанием. О матери они не говорили, но у меня почему-то возникло впечатление, что она была из тех невротических, легковозбудимых женщин, что разрушают собственное счастье и портят кровь своим близким. Я подозревал, что во Флоренции она жила довольно беспорядочной жизнью, и это натолкнуло меня на мысль, что в основе восхитительной безмятежности Оливии кроется огромное усилие воли и что ее отчужденность — не более чем своего рода стена, которой она отгородилась от познания всего постыдного в жизни. И уж конечно, эта ее отчужденность пленяла. Если бы она вас полюбила и вы на ней женились, вам в конце концов удалось бы добраться до скрытых корней ее тайны, — от такой мысли сладко заходилось сердце, и вы понимали: разделив с ней эту тайну, вы бы исполнили все свои самые заветные желания. Бог с ним, с райским блаженством. Но знаете, это так же не давало мне жить, как запретная комната в замке — жене Синей Бороды. Передо

мной открывались все комнаты, но я бы ни за что не успокоился, не проникнув в ту, последнюю, что была на запоре.

Я заметил на стене под потолком чикчака, головастую домашнюю ящерку коричневого цвета. Это мирная маленькая тварь, увидеть ее в доме — добрая примета. Она, замерев, следила за мухой. Внезапно она рванулась, но муха улетела, и ящерка, как-то судорожно дернувшись, опять застыла в странной неподвижности.

— Я не решался и еще по одной причине. Меня пугало, что, если я сделаю ей предложение, а она откажет, мне больше не позволят так запросто наведываться к ним в гости. Этого я решительно не хотел, я страшно любил там бывать. Ее общество дарило мне счастье. Но вы знаете, как оно бывает — иной раз невозможно удержаться. Я таки сделал ей предложение, правда, это получилось почти случайно. Как-то вечером после обеда мы сидели вдвоем на веранде, и я взял ее за руку. Она тут же спрятала руку.

«Зачем вы так?» — спросил я.

«Не люблю, когда ко мне прикасаются, — ответила она, с улыбкой повернувшись ко мне вполоборота. — Вы обиделись? Не обращайте внимания, такая уж у меня прихоть, и с этим

ничего не поделать».

«Неужели вам ни разу не пришло в голову, что я в вас ужасно влюблен?» — произнес я. — Боюсь, вышло жутко нескладно, но до этого мне не доводилось предлагать руку и сердце, — заметил Фезерстоун не то со смешком, не то со вздохом. — А по-честному, я и после не делал никому предложений. С минуту она помолчала, потом сказала:

«Я очень рада, но хотела бы, чтобы этим вы и ограничились».

«Почему?»

«Я не могу бросить Тима».

«А если он женится?»

«Он никогда не женится».

Я уже зашел достаточно далеко, поэтому решил не останавливаться. Но в горле у меня так пересохло, что говорил я с трудом. Меня била нервная дрожь.

«Оливия, я вас безумно люблю. Больше всего на свете мне хочется, чтобы вы за меня вышли».

Она легко коснулась моей руки — так падает на землю цветок.

«Нет, милый, я не могу», — сказала она.

Я молчал. Мне было трудно произнести то, что хотелось. Я по натуре довольно застенчив. Она

была девушкой. Не мог же я объяснять ей, что жить с мужем и жить с братом — не совсем одно и то же. Она была нормальным здоровым человеком, ей, должно быть, хотелось иметь детей; было неразумно подавлять свои естественные инстинкты. Нельзя так расточать молодые годы. Но она первой нарушила молчание.

«Давайте больше не будем об этом, — сказала она. — Договорились? Раз или два мне показалось, что вы, возможно, неравнодушны ко мне. Тим тоже заметил. Я огорчилась, испугавшись, что это положит конец нашей дружбе. Я этого не хочу, Марк. Мы же прекрасно ладим друг с другом, все трое, нам так весело вместе. Не представляю, как мы будем обходиться без вас».

«Я тоже думал об этом», — согласился я.

«По-вашему, все должно кончиться?» — спросила она.

«Нет, я этого не хочу, — ответил я. — Вы ведь знаете, до чего мне приятно к вам приходить. Я еще нигде не чувствовал себя таким счастливым».

«Вы на меня не сердитесь?»

«С какой стати? Это не ваша вина. Просто вы меня не любите. Любили бы — и думать забыли про Тима».

«Вы просто прелесть», — сказала она, обвила мою шею рукой и коснулась губами щеки. Мне показалось, что для нее это внесло в наши отношения окончательную ясность. Меня приняли в дом на правах второго брата.

Через несколько недель Тим отплыл в Англию. Съемщик их дома в Дорсете собирался выезжать, и хотя на его место уже имелся желающий, Тим решил, что лучше самому приехать и лично обо всем договориться. Заодно он собирался приобрести кое-какое оборудование для плантации. По его расчетам, он должен был задержаться в Англии месяца на три, не больше, и Оливия решила не ехать. В Англии у нее знакомых почитай что и не было, для нее это, можно сказать, была чужая страна, и она не возражала пожить одной и приглядеть за плантацией. Конечно, они могли оставить вместо себя управляющего, но это было бы уже не то. Цена на каучук падала, и кому-то из них не мешало быть на месте на всякий случай. Я обещал Тиму за ней присмотреть — если я ей понадоблюсь, мне всегда можно позвонить. Брачное мое предложение не имело ровным счетом никаких последствий. Мы продолжали вести себя так, как будто его и не было. Я даже не знаю, сказала ли она о нем Тиму. Он не подал и виду,

что знает. Я, понятно, любил ее по-прежнему, но свои чувства держал при себе. Самообладания мне, как известно, не занимать. Я понимал, рассчитывать не на что, — и только надеялся, что со временем моя любовь претворится во что-то другое и мы станем самыми добрыми друзьями. Как ни странно, но, представьте, любовь так и осталась любовью. Видимо, она пустила слишком глубокие корни, чтобы ее можно было полностью вытравить.

Она поехала с Тимом в Пенанг проводить его на пароход, а когда вернулась, я встретил ее на вокзале и отвез домой. В отсутствие Тима я не мог позволить себе заявляться туда с ночевкой, но по воскресеньям приезжал к позднему завтраку, после которого мы отправлялись на море купаться. Знакомые, проявляя участие, приглашали ее пожить у них, но она отклоняла приглашения. Она редко покидала плантацию. Дел у нее хватало. Она много читала. Ей никогда не бывало скучно, одиночество ее вполне устраивало, а если она и принимала гостей, то лишь потому, что так было принято, а ей не хотелось прослыть невежливой. Но удовольствия ей это не доставляло, и она говорила мне, что облегченно вздыхает, когда уходят последние гости и она вновь остается сама

с собой в блаженном одиночестве бунгало. Очень странная она была женщина. Непонятно, как можно было в ее годы пренебрегать вечеринками и прочими скромными развлечениями, какие мог предложить наш городишко. В духовном плане, вы понимаете, что я имею в виду, она полагалась исключительно на саму себя. Не знаю, откуда узнали, что я в нее влюблен; по-моему, я не выдал себя ни словом, ни взглядом, однако же мне то там, то тут намекали, что это не тайна. Я понял, что все считают, будто Оливия не уехала в Англию только из-за меня. Одна из дам, некая миссис Серджисон, жена начальника полиции, даже спросила, когда они будут иметь удовольствие меня поздравить. Я, естественно, сделал вид, будто не понимаю ее намеков, но она мне не больно поверила. Все это невольно меня забавляло. Мысль обо мне как о возможном муже была настолько чужда Оливии, что, уверен, она и думать забыла о моем предложении. Не могу утверждать, чтобы она была со мной жестока, по-моему, она вообще была не способна на жестокость; но она обходилась со мной с той легкой небрежностью, с какой сестры подчас относятся к младшим братьям. Она была старше меня года на два или на три. Всегда бурно радовалась моим

приездам, но ни разу не подумала чем-нибудь ради меня поступиться; со мной она держалась поразительно задушевно, но это получалось у нее само собой, — понимаете, так обычно ведешь себя с человеком, которого знаешь всю жизнь и с которым в голову не придет манерничать. Для нее я был отнюдь не мужчиной, а чем-то вроде старого жакета, который носишь не снимая, потому что в нем легко и удобно и можно делать любую работу. Я был бы последним кретином, когда б не видел, что любовью тут и не пахнет.

В один прекрасный день, недели за три-четыре до возвращения Тима, я приехал к ней и заметил, что она плакала. Меня это ошеломило — она всегда держала себя в руках, я ни разу не видел ее расстроенной.

«Вот те на, что случилось?» — спросил я.

«Ничего».

«Не запирайтесь, милая, — сказал я. — Почему вы плакали?»

Она попыталась улыбнуться и ответила:

«И зачем только вы такой наблюдательный! По-моему, я веду себя глупо, но только что пришла телеграмма от Тима. Он сообщает, что задерживается».

«Какая жалость, — сказал я. — Вы, верно, жутко

огорчились».

«Я каждый денечек считала. Мне так его не хватает».

«Он объяснил, почему задерживается?»

«Нет, сообщил, что напишет в письме. Я покажу телеграмму».

Я видел, что она очень переживает. Ее обычно спокойный, медлительный взгляд был исполнен страха, между бровями обозначилась тревожная складка. Она вышла в спальню и вернулась с телеграммой. Читая, я чувствовал на себе ее беспокойный взгляд. Насколько я помню, текст был такой: «Дорогая. Отплыть седьмого не получается. Пожалуйста, прости. Подробности письмом. Нежно люблю. Тим».

«Что ж, возможно, оборудование, за которым он отправился, еще не готово, а без него он не решился отплыть», — предположил я.

«Разве его нельзя было отправить другим рейсом, попозже? Оно все равно еще проваляется в Пенанге».

«Может, задержка связана с домом».

«Тогда почему было так и не сказать? Ведь знает же, что я себе места не нахожу».

«Да он просто не подумал, — заметил я. — В конце концов, до уехавшего не всегда доходит,

что оставшиеся могут не знать того, что для него само собой разумеется».

Она снова улыбнулась, уже веселее.

«Пожалуй, вы правы. Вообще-то это похоже на Тима, он всегда отличался легкомыслием и небрежностью. Пожалуй, и вправду я делаю из мухи слона. Наберусь терпения и стану ждать письма».

Самообладания Оливии было не занимать; у меня на глазах она усилием воли взяла себя в руки. Складочка между бровями разгладилась, она вновь стала сама собой — безмятежной, улыбающейся, сердечной. Ей вообще была свойственна мягкость, но в тот день ее небесная кротость просто ошеломляла. Однако я заметил, что она обуздывает беспокойство только тем, что постоянно взывает к своему здравому смыслу. Ее, видимо, одолевали дурные предчувствия. Они не покинули ее и накануне того дня, как должна была прийти почта из Англии. Тревога ее тем более вызывала сострадание, что она изо всех сил пыталась ее скрыть. Я бывал занят по «почтовым» дням, но обещал заехать на плантацию ближе к вечеру, узнать новости. Я уже собрался отправиться, когда саис Харди прибыл в автомобиле с

настоятельной просьбой от амы[10] немедленно ехать к хозяйке.

Ама была достойная пожилая женщина; я еще раньше вручил ей пару долларов, сказав, чтобы она сразу же мне сообщила, если на плантации что случится. Я бросился к своей машине. Ама поджидала меня на ступеньках.

«Утром пришло письмо», — сказала она.

Я не стал дальше слушать и взбежал по ступенькам. В гостиной никого не было. «Оливия», — позвал я.

Выйдя в коридор, я услышал звуки, от которых сердце у меня екнуло. Ама — она шла за мной по пятам — открыла дверь в спальню Оливии. То, что я слышал, были ее рыдания. Я вошел. Она лежала на постели лицом вниз, все ее тело сотрясалось от рыданий. Я положил руку ей на плечо. «Что случилось, Оливия?»

«Кто тут?» — вскрикнула она, вскочив на ноги, словно до смерти перепугалась. И затем: «А, это вы». Она стояла передо мной, закинув голову и закрыв глаза, и слезы бежали у нее по щекам. Жуткое зрелище. «Тим женился», — всхлипнула она, и лицо у нее исказилось от боли.

---

[10] Примечания: 10
Ама (*индийск.*) — кормилица, няня, горничная.

Должен признаться, меня на мгновенье охватило ликование, словно в сердце ударило током; меня осенило, что теперь появился шанс и она вдруг да захочет за меня выйти. Знаю, с моей стороны это был чудовищный эгоизм, но вы должны понять, что новость застала меня врасплох. Впрочем, это длилось всего мгновение; меня растрогало ее страшное горе, и осталась только глубокая жалость к несчастной женщине. Я обнял ее за талию.

«Господи, вот напасть-то, — сказал я. — Пойдемте-ка в гостиную, вы сядете, и мы обо всем поговорим. А я вам чего-нибудь налью».

Она позволила отвести себя в соседнюю комнату, и мы уселись на диван. Я велел аме принести виски и сифон, смешал порцию покрепче и заставил Оливию пригубить. Я обнял ее и положил ее голову себе на плечо. Все это она покорно сносила. По ее сведенному горем лицу струились крупные слезы.

«Как он мог? — стонала она. — Как он мог?»

«Дорогая моя, — произнес я, — рано или поздно это должно было случиться. Он человек молодой. Не могли же вы рассчитывать, что он так и будет ходить холостым. Что он женился — это только естественно».

«Нет, нет, нет», — всхлипывала она.

В кулаке у нее я заметил скомканное письмо и понял, что оно от Тима.

«Что он пишет?» — спросил я.

Она испуганно дернулась и прижала письмо к груди, словно решила, что я хочу его отнять.

«Пишет, что ничего не мог поделать. Пишет, что выхода у него не было. Что это значит?»

«Ну, понимаете, он по-своему такой же привлекательный, как вы сами. В нем много очарования. Вероятно, он безумно влюбился в какую-то девушку, а она в него».

«Он такой слабовольный», — простонала она.

«Они приезжают?» — спросил я.

«Вчера отплыли. Он пишет, что это ничего не изменит. Он с ума сошел. Разве я смогу здесь остаться?»

Она истерически расплакалась. Было мучительно видеть, как ее, обычно такую сдержанную, раздирают чувства. Я всегда подозревал, что за ее милой безмятежностью скрывается способность к сильным переживаниям. Однако меня просто убило самозабвение, с каким она предавалась своему горю. Держа ее в объятиях, я покрывал поцелуями ее глаза, ее мокрые щеки, ее волосы. По-моему, она не понимала, что я делаю. Да и сам

я вряд ли понимал, до того глубоко я был тронут.

«Что мне делать?» — запричитала она.

«Выйти за меня замуж».

Она попыталась высвободиться из моих объятий, но я не позволил.

«В конце концов это решит все проблемы», — сказал я.

«Как я могу выйти за вас? — простонала она. — Я на несколько лет вас старше».

«Ну, это сущие пустяки — какие-нибудь два-три года. Что мне за дело до такой чепухи?»

«Нет, нет».

«Но почему?» — настаивал я.

«Я вас не люблю», — ответила она.

«Ну и что? Зато я вас люблю».

Не помню, что я ей пел. Я заявил, что постараюсь сделать ее счастливой. Я сказал, что никогда не попрошу у нее того, чего она не в состоянии дать. Я говорил и говорил. Я попытался воззвать к ее здравому смыслу. Я видел, что ей не хочется там оставаться, жить рядом с Тимом, и заверил ее, что скоро получу перевод в другой округ. Я подумал, может, хоть это ее соблазнит. Она не может не согласиться, что мы с ней всегда отлично ладили. Она, похоже, немного успокоилась. Я почувствовал, что она прислушивается к мо-

им словам. Больше того, мне показалось — она понимает, что я ее обнимаю, и это ее утешает. Я заставил ее отхлебнуть еще капельку виски. Дал ей сигарету. Наконец я решил, что можно позволить себе чуть-чуть пошутить.

«Честное слово, не так уж я плох, — заявил я. — Могли бы нарваться на кого и похуже».

«Вы меня не знаете, — сказала она. — Вы обо мне ничегошеньки не знаете».

«Я схватываю на лету», — возразил я.

Она слабо улыбнулась.

«Вы ужасно добрый, Марк».

«Оливия, скажите „да“», — умолял я.

Она глубоко вздохнула и долго не поднимала глаз. Но и не шевелилась, я ощущал ее мягкое тело в своих объятиях. Я ждал. Нервы у меня были напряжены до предела, время, казалось, застыло на месте.

«Хорошо», — промолвила она наконец, словно и не заметила, что между моей мольбой и ее ответом прошло столько времени.

Я был так взволнован, что не нашел нужных слов. Но когда я попытался поцеловать ее в губы, она отвернулась и не позволила. Я предложил сразу и пожениться, но тут она решительно воспротивилась и настояла, чтобы мы подождали до

возвращения Тима. Вы знаете — порой читаешь чужие мысли яснее, чем если бы их произнесли вслух, — я видел: она не может до конца поверить в то, что Тим написал ей правду, и все еще цепляется за жалкую надежду, что тут какая-то ошибка и вдруг он по-прежнему не женат. Это меня уязвило, но я так ее любил, что смирился. Я был готов снести от нее что угодно. Я ее обожал. Она не позволила даже рассказать кому-нибудь о нашей помолвке, взяла с меня клятву, что я ни словом о ней не обмолвлюсь, пока Тим не вернется. Она заявила, что не вынесет даже мысли о поздравлениях и всем остальном. Объявить о женитьбе Тима — она и этого мне не дала. Уперлась — и все. У меня сложилось впечатление, что она решила: если о его женитьбе станет известно, то она превратится в свершившийся факт, а этого ей как раз и не хотелось.

Но тут уж от нее ничего не зависело. На Востоке новости распространяются неисповедимыми путями. Не знаю, какие слова вырвались у Оливии, когда она прочитала письмо, но ама, видимо, их услышала; во всяком случае, саис Харди рассказал саису Серджисонов, и стоило мне после этого появиться в клубе, как на меня набросилась миссис Серджисон.

«Я слышала, Тим Харди женился», — заявила она.

«Вот как?» — ответил я с непроницаемым видом, не желая ввязываться в обсуждение.

Она улыбнулась и сообщила, что, как только узнала от своей амы об этом слухе, сразу позвонила Оливии спросить, правда ли это. Оливия ответила довольно невразумительно. Подтвердить не подтвердила, но сказала, что Тим прислал ей письмо с известием о женитьбе.

«Странная она девушка, — заметила миссис Серджисон. — Когда я спросила о подробностях, она сказала, что таковыми не располагает, а когда спросила, рада ли она, то вообще не ответила».

«Оливия предана Тиму, миссис Серджисон, — возразил я. — Понятно, что его женитьба выбила ее из колеи. Она ничего не знает о жене Тима, поэтому и переживает».

«А когда вы двое намерены пожениться?» — выпалила она.

«Что за нескромный вопрос!» — попробовал я отшутиться.

Она проницательно на меня посмотрела:

«Даете честное слово, что вы с ней не помолвлены?»

Мне не хотелось ни лгать ей, ни грубо ее оса-

живать, но я искренне обещал Оливии хранить молчание до возвращения Тима. Поэтому уклонился от прямого ответа:

«Миссис Серджисон, когда мне будет что сообщить, обещаю, что вы первая об этом узнаете. Сейчас же могу сказать лишь одно: больше всего на свете я хотел бы жениться на Оливии».

«Я рада, что Тим женился, — ответила она на это. — Надеюсь, что и она не преминет выйти за вас. Эта парочка вела там, у себя на плантации, патологически нездоровый образ жизни. Слишком много времени они проводили друг с другом и слишком были друг другом поглощены».

Я виделся с Оливией почти каждый день. Чувствуя, что ей не хочется заниматься со мной любовью, я ограничивался поцелуями при встрече и на прощанье. Она была со мной очень милой, заботливой и доброй; я знал, что она радовалась, когда я приходил, и с сожалением меня отпускала. Обычно она любила помолчать, но в те дни на нее напала разговорчивость, которой я раньше за ней не замечал. Но она ни разу не заговаривала о будущем или о Тиме и его жене. Она много рассказывала о том, как жила с матерью во Флоренции. Вела она там удивительно одинокую жизнь, общаясь в основном со слугами

и гувернантками, тогда как мать ее, насколько я понял, постоянно меняла любовников, вступая в связь с сомнительными итальянскими графьями и русскими князьями. Я подозревал, что к четырнадцати годам она мало чего не знала о жизни. Для нее было естественным совсем не считаться с условностями: в том мире, который она только и знала до восемнадцати лет, об условностях не говорили, потому что их не было. Постепенно к Оливии, видимо, вернулась ее безмятежность; я бы даже подумал, что она начала привыкать к мысли о женитьбе Тима, когда б ее бледность и усталый вид не бросались в глаза. Я твердо решил настоять на немедленной свадьбе сразу же после его возвращения. Короткий отпуск я мог получить в любую минуту, а к концу отпуска рассчитывал добиться перевода на новую должность. В чем она нуждалась, так это в смене обстановки.

День прибытия корабля в Пенанг был, конечно, известен, а вот час — нет, и непонятно было, успеет ли Тим на поезд; я отправил письмо представителю пароходства с просьбой уведомить меня телеграфом, как только он будет знать точное время. Получив телеграмму, я отправился к Оливии; оказалось, ей только что пришла

телеграмма от Тима. Корабль пришвартовался утром, Тим должен был приехать на другой день. По расписанию поезд прибывал в восемь утра, но обычно опаздывал, когда на час, а когда и на шесть часов. Я привез Оливии приглашение от миссис Серджисон приехать (я бы ее подвез) и заночевать у нее, с тем чтобы уже быть на месте и отправиться на вокзал, лишь когда станет известно, что поезд на подходе.

У меня с души будто камень свалился. Я думал, что когда удар наконец обрушится, Оливия перенесет его не столь болезненно. Она успела взвинтить себя до такой степени, что, по моим расчетам, пришла пора разрядиться. Может быть, невестка ей даже полюбится. Всем троим ничто не мешало наладить прекрасные отношения. К моему великому удивлению, Оливия заявила, что не поедет встречать их на станцию.

«Они страшно огорчатся», — сказал я.

«Лучше я подожду их здесь, — произнесла она со слабой улыбкой. — И не спорьте, Марк, я твердо решила».

«А я-то велел моему повару приготовить завтрак на всех», — сказал я.

«Вот и хорошо. Вы их встретите, повезете к себе, угостите завтраком, а уж после этого пусть едут

сюда. Я, понятно, отправлю за ними машину».

«Не думаю, чтоб они без вас сели завтракать», — возразил я.

«Сядут, будьте уверены. Если поезд не опаздывает, им и в голову не придет позавтракать до прибытия, так что они приедут голодные. Им не захочется пускаться в долгую поездку на пустой желудок».

Я ничего не понимал. Она с таким нетерпением ждала возвращения Тима, а вот теперь решила дожидаться в одиночестве, пока мы будем ублажать себя завтраком. Странно. Я предположил, что она очень переживает и хочет до самой последней минуты оттянуть встречу с женщиной, которая приехала занять ее место. Это казалось бессмысленным. На мой взгляд, часом раньше или часом позже — погоды не делало, но я знал о женских причудах, да и в любом случае, как я чувствовал, Оливия не в том настроении, чтобы ее уговаривать.

«Позвоните перед выездом, чтобы я знала, когда вас ждать», — попросила она.

«Позвоню, — сказал я. — Только вы не забыли, что я не смогу с ними приехать? Сегодня у меня „лахадский день“».

Лахад — это город, куда мне полагалось отправ-

ляться раз в неделю слушать дела. Путь туда был неблизкий, к тому же приходилось перебираться паромом через реку, что тоже отнимало время, поэтому возвращался я поздно вечером. Там жили несколько европейцев и был клуб, куда мне тоже, как правило, приходилось заглядывать — пообщаться и посмотреть, все ли в порядке.

«Кроме того, — добавил я, — Тим впервые вводит жену в свой дом, так что мое присутствие едва ли желательно. Вот если вам захочется пригласить меня к обеду, я с удовольствием приеду».

Оливия улыбнулась:

«Боюсь, впредь не мне уже рассылать приглашения, а? Придется вам попросить новобрачную».

Она обронила это так беззаботно, что я возликовал. Наконец-то, подумал я, она решила примириться с изменившимися обстоятельствами, больше того, делала это охотно. Она пригласила меня остаться пообедать. Обычно я уезжал от нее около восьми и обедал дома. В тот вечер она была со мной очень милой, чуть ли не нежной. Таким счастливым я не бывал уже много недель, и никогда еще я не любил ее так безнадежно. За обедом я пропустил пару стаканчиков джина и, как мне кажется, был в ударе. Знаю, мне удалось ее рассмешить. Я почувствовал, что она наконец

освобождается от бремени тяжкого горя. Поэтому я и позволил себе не очень серьезно отнестись к тому, что произошло в конце.

«Вам не кажется, что пришло время попрощаться с пребывающей, как считают, в девичестве дамой?» — спросила она, и спросила так легко и беспечно, что я, не задумываясь, ответил:

«Ох, любимая моя, вы глубоко заблуждаетесь, полагая, что от вашего доброго имени хоть что-то осталось. Не может быть, чтобы вы и вправду считали, будто дамы Сибуку не знают о моих ежедневных визитах к вам на протяжении целого месяца. Общее мнение таково, что если мы еще не поженились, то давно пора это сделать. Не кажется ли вам, что неплохо бы объявить им о нашей помолвке?»

«Ну, Марк, не нужно так уж серьезно относиться к нашей помолвке», — возразила она.

Я рассмеялся:

«Как же прикажете мне к ней относиться? Это вполне серьезно».

Она чуть покачала головой:

«Нет. В тот день я была расстроена и не в себе. А вы были со мной очень нежны. Я согласилась, потому что не было сил сказать „нет“. Но с тех пор у меня было время прийти в себя. Не считайте

меня жестокой. Я ошиблась и очень перед вами виновата. Вы должны меня простить».

«Дорогая, все это вздор. Вам не в чем себя упрекать».

Она пристально на меня посмотрела. Она была совершенно спокойна, в глубине ее глаз даже таилась тень улыбки.

«Я не смогу за вас выйти. Я ни за кого не смогу выйти. С моей стороны глупо было даже подумать об этом».

Я не стал торопиться с ответом. Она была какая-то странная, и я почел за благо не спорить.

«Что ж, не могу же я тащить вас силком к алтарю», — сказал я.

Я протянул ей руку, она вложила в нее свою. Я обнял ее за плечи — она не отстранилась и позволила, как было заведено, поцеловать себя в щеку.

Утром я встречал поезд. В кои веки раз он пришел вовремя. Тим помахал мне из окна, когда его вагон проплывал мимо. Поезд остановился, я подошел; он уже слез и помогал спуститься жене. Он тепло потряс мне руку.

«Где Оливия? — спросил он, скользнув взглядом по перрону. — Познакомьтесь, это Салли».

Я пожал ей руку, одновременно объясняя, поче-

му не приехала Оливия.

«Ей пришлось бы вставать в такую рань, правда?» — сказала миссис Харди.

Я сообщил, что порядок действий таков: они едут ко мне перекусить, а потом отправляются домой.

«Мечтаю о ванне», — сказала миссис Харди.

«Будет вам ванна», — пообещал я.

Она и в самом деле была милашка — очень светлая, с огромными голубыми глазами и прямым очаровательным носиком. У нее была удивительно нежная кожа — розы с молоком. Она, конечно, чуть смахивала по типу на хористку, и ее красота могла бы кое-кому показаться довольно слащавой, но в своем стиле она была обаятельна. Мы поехали ко мне; и он и она приняли ванну, а Тим еще и побрился. Я побыл с ним наедине всего несколько минут. Он спросил, как Оливия отнеслась к его женитьбе. Я ответил, что очень расстроилась.

«Этого я и боялся, — заметил он, нахмурившись, и вздохнул: — Я не мог поступить по-другому».

Я не понял, что он хотел сказать. В эту минуту появилась миссис Харди и взяла мужа под руку. Он взял ее руку в свою, нежно пожал и посмотрел на нее довольным и каким-то насмешливо-любя-

щим взглядом, словно не принимал ее совсем уж всерьез, но получал удовольствие от сознания, что она ему принадлежит, и гордился ее красотой. Она и вправду была миловидной и шустрой. К тому же отнюдь не робкого десятка: мы не были знакомы и десяти минут, как она предложила мне звать ее просто Салли. Понятно, они только что приехали, и в ней еще не улеглось возбуждение. Ей не доводилось бывать на Востоке, тут у нее от всего дух захватывало. Было ясно как день, что она по уши влюблена в Тима. Она с него глаз не сводила, ловила каждое его слово. Мы весело позавтракали и распрощались. Они сели в свою машину, чтобы ехать домой, я — в свою, чтобы ехать в Лахад. Оттуда я обещал отправиться прямиком на плантацию, да мне и в самом деле пришлось бы дать большого крюка, чтобы заглянуть к себе, поэтому прихватил с собой смену белья. Было бы странно, если Салли окажется Оливии не по душе: искренняя, веселая, остроумная, совсем молоденькая — ей было никак не больше девятнадцати, — а ее замечательная миловидность не могла не тронуть Оливию. Я был рад, что подвернулась уважительная причина на целый день предоставить эту троицу самим себе, однако из Лахада я выехал с мыслью о том,

что они обрадуются моему приезду. Подкатил к бунгало и посигналил, ожидая, что кто-нибудь выйдет навстречу. Ни души. Дом был погружен во мрак. Я удивился. Стояла мертвая тишина. Я ничего не понимал. Они же должны быть у себя. Очень странно, подумал я. Еще чуточку подождал, вылез из машины и поднялся по ступенькам. На верхней я обо что-то споткнулся, похоже, о тело. Выругавшись, я наклонился и пригляделся. Это была ама. Когда я к ней прикоснулся, она отпрянула, скорчившись от ужаса, и разразилась стенаниями.

«Что случилось, черт побери?» — заорал я. Тут я почувствовал, что кто-то трогает меня за плечо, и услышал: «Туан, туан»[11].

Я обернулся и различил в темноте старшего слугу Тима. Он заговорил придушенным голосом. Я слушал с нарастающим ужасом. То, что он рассказал, было чудовищно. Я оттолкнул его и бросился в дом. В гостиной царил мрак. Я включил свет. Первое, что я увидел, — это съежившуюся в кресле Салли. Мое внезапное появление испугало ее, она вскрикнула. Я едва мог вымолвить несколько слов. Я спросил ее, правда ли это. Она сказала,

---

[11] Примечания: 11
Господин (*малайск.*).

что да, и комната поплыла у меня перед глазами. Мне пришлось сесть. Когда машина с Тимом и Салли свернула на подъездную дорожку и Тим просигналил, объявляя об их прибытии, а слуги и ама выбежали их встретить, раздался выстрел. Они кинулись в спальню Оливии и увидели ее лежащей перед зеркалом в луже крови. Она застрелилась из револьвера Тима.

«Она умерла?» — спросил я.

«Нет, послали за врачом, он отвез ее в больницу».

Я не соображал, что делаю. Даже не удосужился сообщить Салли, куда еду. Я поднялся и вышел шатаясь. Усевшись в машину, я велел саису что есть мочи гнать в больницу. Ворвался в приемный покой и спросил, где она. Меня пытались не пустить, но я всех растолкал. Я знал, где отдельные палаты. Кто-то вцепился мне в руку, я вырвался. До меня смутно дошло, что врач приказал никого к ней не пускать. Мне было не до запретов. У двери дежурил санитар; он загородил вход рукой. Я выругался и велел ему убираться. Вероятно, я устроил скандал, но я уже сам себя не помнил. Дверь отворилась, и появился врач.

«Это кто тут шумит? — спросил он. — А, это вы. Что вы хотели?»

«Она умерла?»

«Нет. Но без сознания. Она так и не приходила в себя. Через час-два все будет кончено».

«Я хочу ее видеть».

«Это невозможно».

«Мы с ней помолвлены».

«Помолвлены?! — воскликнул он и так странно на меня посмотрел, что я заметил это даже в тогдашнем моем состоянии. — Тогда тем более».

Я не понял, что он имел в виду, я отупел от этих страшных событий.

«Вы ведь можете как-то ее спасти», — сказал я умоляюще.

Он покачал головой.

«Видели бы вы ее, так не стали бы об этом просить», — произнес он.

Я в ужасе на него уставился. В наступившей тишине я услышал судорожные всхлипывания какого-то мужчины.

«Кто это?» — спросил я.

«Ее брат».

Тут меня тронули за руку. Я обернулся. Это была миссис Серджисон.

«Бедный вы мой, — сказала она, — как я вам сочувствую».

«Почему, почему она это сделала?» — просто-

нал я.

«Уйдемте, голубчик, — сказала миссис Серджисон. — Здесь вы уже ничем не поможете».

«Нет, я должен остаться», — возразил я.

«Что ж, ступайте посидите у меня», — предложил врач.

Я был совсем оглушен и позволил миссис Серджисон отвести меня за руку в личный кабинет врача. Она заставила меня сесть. Я все никак не мог поверить, что это правда. Я внушал себе, что это какой-то чудовищный кошмар, от которого я должен очнуться. Не знаю, сколько мы там просидели. Три часа. Может быть, четыре. Наконец пришел врач.

«Все кончено», — сообщил он.

Тут я не выдержал и разревелся. Меня мало заботило, что они обо мне подумают. Я был в таком горе.

Мы похоронили ее на другой день.

Миссис Серджисон проводила меня до дома и посидела со мной какое-то время. Она хотела, чтобы я пошел с нею в клуб. У меня не хватило духу. Она была само участие, но я вздохнул с облегчением, когда она ушла. Я попробовал читать, однако не понимал ни слова. Внутри у меня все умерло. Вошел слуга, включил свет. Голова у меня

раскалывалась от боли. Снова появился слуга и сказал, что меня хочет видеть дама. Я спросил, кто это. Он ответил, что не уверен, но думает, что это новая жена туана с плантации в Путатане. Я не представлял себе, что ей могло от меня понадобиться. Я встал и вышел. Слуга не ошибся. Это была Салли. Я пригласил ее в дом. Я заметил, что она смертельно бледна. Мне ее было жалко. Для девушки ее лет это было скверное испытание, а для новобрачной — жуткий приезд в дом мужа. Она присела. Она была вся на нервах. Чтобы ее успокоить, я принялся говорить банальности. Я чувствовал себя очень неловко, потому что она уставилась на меня своими огромными голубыми глазами, которые просто омертвели от ужаса. Вдруг она меня перебила.

«Кроме вас, я никого тут не знаю, — заявила она. — Больше мне не к кому было идти. Я хочу, чтобы вы меня увезли отсюда».

Я опешил.

«В каком это смысле — увез?» — спросил я.

«Я не хочу, чтобы вы меня расспрашивали. Я хочу одного — чтобы вы меня увезли. Немедленно. Я хочу вернуться в Англию!»

«Но вы не можете сейчас так вот взять да и бросить Тима, — возразил я. — Милая моя, нельзя

давать волю нервам. Понимаю, каково вам, но подумайте и о Тиме. Для него ваш отъезд будет таким несчастьем. Если вы его любите, самое меньшее, что вы можете сделать, — это постараться хоть чуточку облегчить его горе».

«Ох, ничего вы не понимаете, — воскликнула она, — а я не могу объяснить. Это так мерзко. Умоляю — помогите мне. Если есть ночной поезд, посадите меня на поезд. Мне бы только до Пенанга добраться, а там уж я сяду на корабль. Мне не хватит сил провести здесь еще одну ночь. Я сойду с ума».

Я был в полном недоумении.

«Тим знает?» — спросил я.

«Я не видела Тима со вчерашнего вечера. И больше никогда не увижу. Лучше смерть».

Я попытался выиграть время.

«Как вы поедете без вещей? Вы собрали багаж?»

«Какое это имеет значение?! — нетерпеливо возразила она. — Все, что понадобится в дороге, у меня с собой».

«А деньги у вас имеются?»

«Мне хватит. Так есть ночной поезд?»

«Есть, — сказал я. — Приходит в самом начале первого».

«Слава Богу. Вы все уладите? Можно я пока побуду у вас?»

«Вы ставите меня в ужасное положение, — сказал я. — Я не представляю, как тут лучше всего поступить. Вы, по-моему, делаете крайне серьезный шаг».

«Если б вы все узнали, то сами поняли, что по-другому нельзя».

«Ваш отъезд вызовет здесь грандиозный скандал. Трудно представить, какие пойдут разговоры. Вы подумали о том, каково будет Тиму? — спросил я; мне было тревожно и грустно. — Видит Бог, я не рвусь вмешиваться в то, что меня не касается, но раз вы желаете, чтобы я вам помог, я должен понимать, что к чему, чтобы себя не винить. Вы обязаны мне рассказать, что случилось».

«Не могу. Скажу только, что мне все известно».

Она закрыла лицо руками и вздрогнула. Затем встряхнулась, словно отгоняя от себя нечто непередаваемо мерзкое.

«Не было у него права на мне жениться. Это было чудовищно».

Голос у нее сделался пронзительный и визгливый. Я испугался, что у нее вот-вот начнется истерика. Ее хорошенькое кукольное личико было искажено от ужаса, глаза не мигая уставились

в одну точку.

«Вы его больше не любите?» — спросил я.

«После такого?»

«Что вы будете делать, если я не стану вам помогать?»

«Надеюсь, тут есть священник или врач. Уж проводить-то вы меня проводите, не откажетесь».

«Как вы сюда добрались?»

«Привез старший слуга. Он откуда-то раздобыл машину».

«Тим знает, что вы уехали?»

«Я оставила ему записку».

«Он узнает, что вы у меня».

«Он не будет пытаться мне помешать. Это я вам обещаю. Он не посмеет. Ради всего святого, не пытайтесь и вы. Говорю вам, еще одна ночь здесь — и я сойду с ума».

Я вздохнул. В конце концов, она была достаточно взрослая, чтобы распоряжаться собой.

Я, записавший все это, долго молчал.

— Вы поняли, что она имела в виду? — наконец спросил я Фезерстоуна.

Он посмотрел на меня долгим измученным взглядом.

— Она могла иметь в виду только одно — то, о

чем нельзя сказать вслух. Да, я понял, можете не сомневаться. Это все объясняло. Бедная Оливия. Бедная моя любимая. Вероятно, я забыл тогда о логике и здравом смысле, но эта хорошенькая белокурая малышка с затравленными глазами в ту минуту вызывала у меня одно отвращение. Я ее ненавидел. Я помолчал, потом сказал, что сделаю все, как она хочет. Она даже не сказала «спасибо». По-моему, она догадалась о моих чувствах. Когда пришло время обедать, я заставил ее поесть. Она спросила, не найдется ли комнаты, где она смогла бы прилечь до того, как нужно будет ехать на станцию. Я отвел ее в свободную спальню и оставил одну. Сам я уселся в гостиной и принялся ждать. Господи, как же медленно тянулось время. Я думал, часы никогда не пробьют двенадцать. Я позвонил на вокзал, мне сказали, что поезд придет около двух ночи. В полночь она пришла в гостиную, мы прождали с ней полтора часа. Говорить нам было не о чем, поэтому мы молчали. Потом я отвез ее на вокзал и посадил на поезд.

— А грандиозный скандал — он был или нет?

Фезерстоун скривился:

— Не знаю. Я уехал в краткосрочный отпуск, а после получил назначение на новое место. До

меня дошли слухи, что Тим продал плантацию и купил другую, но я не знал, где именно. Когда я его здесь увидел, я поначалу просто опешил.

Фезерстоун встал, подошел к столу и налил себе виски с содовой. В наступившем молчании я услышал монотонное кваканье лягушачьего хора. И тут с дерева неподалеку от дома подала голос птица, которую в здешних краях прозвали «птичка-лихорадка». Сперва три ноты в понижающейся хроматической гамме, затем пять, затем четыре. Ноты, меняясь, следовали одна за другой с тупым упорством, против воли заставляя прислушиваться и вести им счет. Поскольку угадать их число было никак невозможно, это было форменной пыткой.

— Будь она проклята, эта птица, — сказал Фезерстоун. — Значит, мне ночью не спать.

Сомерсет МОЭМ

Сомерсет Моэм. Человек поразительной судьбы, писатель, совмещавший литературный труд с миссией тайного агента. Однако в истории мировой литературы он оставил заметный след прежде всего как непревзойденный мастер прозы — как автор, в совершенстве овладевший тончайшим искусством рассказчика и обладавший уникальным даром романиста...

Сборник "экзотических" рассказов Сомерсета Моэма о необычных людях, необычных местах и необычных событиях, которые никак не могли бы произойти в скучной и чопорной Англии 1930-х годов.

Герои этих рассказов пытаются сохранить в далеких от цивилизации странах родные им нравы и обычаи — но неизменно терпят поражение, оказываясь в плену изменившихся обстоятельств...